А. Р. Лурия

ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗВРАЩЕННЫЙ МИР (ИСТОРИЯ ОДНОГО РАНЕНИЯ)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1971

Содержание

О КНИГЕ И ОБ АВТОРЕ

Это повесть об одном мгновении, которое разрушило целую жизнь.

Это рассказ о том, как пуля, пробившая череп человека и прошедшая в его мозг, раздробила его мир на тысячи кусков, которые он так и не мог собрать.

Это книга о человеке, который отдал все силы, чтобы вернуть свое прошлое и завоевать свое будущее.

Это книга о борьбе, которая не привыкла к победе, и о победе, которая не прекратила борьбы.

Пишущий эти строки — не является в полной мере автором этой книги. Автором является ее герой.

Передо мной лежит кипа тетрадей, пожелтевших, самодельных тетрадей военного времени и толстых, в клеенчатых обложках, тетрадей последующих лет мирной жизни. В них почти три тысячи страниц.

На них герой книги затратит четверть века работы — изо дня в день, из часа в час, пытаясь записать историю своей жизни, последствия своего страшного ранения.

Он собирал свои воспоминания из мелких осколков, мелькавших без системы, пытаясь уложить их в стройную последовательность. Он испытывал мучительные затруднения, вспоминая каждое слово, собирая каждую фразу, судорожно пытаясь схватить и удержать мысль.

Иногда — в удачные дни — ему удавалось за целый день написать страницу, много — две, и тогда он чувствовал себя совершенно истощенным.

Он писал, потому что это была его единственная связь с жизнью, единственный способ не поддаться недугу и остаться на поверхности. Это была его единственная надежда вернуть что-нибудь из потерянного. Он писал с мастерством, которому мог бы позавидовать любой психолог. Он боролся за жизнь.

Эта книга о мучительной борьбе с болезнью. Книга о героической борьбе за жизнь. Книга незаметного героя, которого родила война.

3

Страницы дневника нашего героя, который он сам сначала назвал «История страшного ранения», а потом «Опять борюсь...», написаны в разные периоды. Он начал свой дневник на второй год после ранения и писал на протяжении четверти века, все снова и снова возвращаясь к отдельным эпизодам.

Пишущий эти строки попытался со всей доступной ему тщательностью изучить удивительный документ. Он расположил его страницы в хронологическом порядке, ретроспективно восстанавливая историю ранения по записям больного, и попытался затем дать характеристику тех глубочайших изменений в сознании, которые были вызваны пулей, разрушившей важные для нормальной работы участки мозга.

Он присоединил к этому свои непосредственные наблюдения над героем этой книги, наблюдения, которые он, как специалист своей отрасли науки, вел больше четверти века — сначала в госпитале военного времени, потом — на протяжении многих лет в условиях клиники. Он сдружился со своим героем; он понял, какую блестящую жизнь разрушило это ранение; и у него возникло желание поделиться с другими теми переживаниями и мыслями, которые сложились у него за годы работы.

И вот эта маленькая книга. Книга, которая в значительной части написана человеком, для которого написание каждой строчки было результатом титанических усилий и которому удалось собрать целые картины своего мира, раздробленного на тысячи отдельных кусков.

В этой книге нет ни строки вымысла. Каждое ее положение проверено сотнями наблюдений и сопоставлений. Пишущий эти строки не был вправе вносить какие-либо изменения в страницы дневника, написанного героем, выбирая лишь куски из отдельных тетрадей и не меняя ни стиля, ни смысла.

Читатель оценит эту книгу — книгу об одном живом человеке, который с таким упорством боролся за свой мозг, испытывая на каждом шагу непреодолимые трудности, но который в конечном счете вышел победителем из этой изнуряющей, неравной борьбы.

Ал. Лурия

«Может быть кто-нибудь из знатоков больших и серьезных мыслей поймут мое ранение и болезнь, разбе-рутся, что происходит в голове, в памяти, в организме, оценят мой труд по достоинству и, может быть, по-могут мне в чем-либо, чтобы избежать трудности в жизни. Я знаю, что многие говорят о космосе, о косми-ческих пространствах. И земля наша является мельчайшей частичкой этого бесконечного космоса. А ведь люди почти что не думают об этом, они думают и мечтают о полетах хотя бы на ближайшие планеты, которые обращаются вокруг солнца. А вот о полетах пуль, осколков, снарядов или бомб, которые раскалываются и влетают в голову человека, отравляя и обжигая его мозг, калеча его память, зрение, слух, сознание — это люди считают теперь обычным делом. Так ли это? Отчего же тогда я болею, отчего не работает моя память, отчего не возвращается зрение, отчего вечно шумит, болит голова, отчего я недослышу, недопонимаю речи людской сразу? Тяжелое это дело — понимать снова мир, потерянный мною из-за ранения и болезни, уже из отдельных мельчайших кусочков собрать его в одно целое...

Я решил назвать свое писание такими словами: «Я снова борюсь!». Мне хотелось написать рассказ, как со мной случилось это бедствие, которое не уходит от меня уже с самого ранения и до сих пор. Но я все равно не падаю духом, стараюсь улучшить свое положение, развивая речь, память, мышление и понятия. Да, я борюсь за восстановление своего положения, которое я потерял во время ранения и болезни.

Л. ЗАСЕЦКИЙ

Прошлое

Вначале все было просто.

Прошлое было таким обычным, как у всех других; жизнь была нелегкой, но простой; будущее казалось таким заманчивым...

И сейчас он любил вспоминать это, и страницы его дневника все снова возвращали его к этой — теперь потерянной — жизни.

«В 1941 году перед самой войной я окончил третий курс механического института и уж, кажется, начал собираться на практику на специальный завод. В моем воображении рисовался завод, моя практическая работа!.. А там лучшие проекты! Отличное окончание института... аспирантура и... самостоятельная работа для лучшего будущего!

С раннего детства я почему-то тянулся к наукам, к знаниям и с жадностью всасывал в свою память все, с чем только успел соприкоснуться: в школе ли, в кружках ли, в текущей ли народной жизни. Мне почему-то хотелось быть многосторонне развитым советским человеком, способным оказать своему народу многостороннюю помощь в области науки и техники.

Я очень рано лишился отца, когда мне не было еще и двух лет от роду. Мой отец внезапно умер на угольных шахтах, где он работал горным инженером. Моей матери пришлось тяжело после смерти отца с четырьмя маленькими детьми. А ведь моя мать была неграмотной, она даже не сумела получить пенсии за детей. Зато она была трудолюбивая, не испугалась пришедшей новой и суровой жизни и как-то ухитрялась и одеть, и обуть, и накормить, и обогреть всех детей, а когда пришло время отдавать детей в школу, она сделала и это. Начал в школе учиться и я. Отлично

окончил начальную школу, а затем через шесть лет закончил отличником и десятилетку!

7

Ну, а институт я и вовсе быстро окончу, без сомнения, остаются какие-нибудь два годочка, — пустяки, теперь мне никто не помешает кончить его! А как только кончу институт, сразу начну помогать своей матери, пусть она отдохнет теперь».

Иногда он возвращался к воспоминаниям детства, которые сначала казались смутными, а потом всплывали с такой ясностью.

«Оказывается, что я помню свое детство и даже помню свой школьный ранний период, когда я учился в первом-втором классе начальной школы. Я помню свою учительницу, которая меня учила в начальной школе, помню ее фамилию — Марья Гавриловна Лапшина, помню своих лучших товарищей — Миронов Санька, Саломатин Володька, Разина Таня, Протопопова Адя, Лучникова Маруся...

Я помню детские игры, мотивы детских песен. Я помню, как во втором классе сочинял стихи про плохих товарищей, я помню, как меня посылали на слет пионеров в Москву, который тогда состоялся. Помню пионерский лагерь, пионерский костер, помню свой родной город Епифань целиком и по частям; помню своих лучших товарищей по начальной школе; помню свою учительницу; помню, что такое земля солнце, луна, звезды, что такое вселенная (как помнит и представляет ребенок — школьник!)».

И снова жизнь тихого, забытого городка, где протекало и детство, и юность:

«Город Епифань был когда-то старинный купеческий городок. В центре города — большой собор — с расписными фигурками богородиц с младенцами, на верхушке — золотой крест, а вокруг собора расхо-дятся лучами улицы, сначала с двумя-тремя этажами, а потом уже одноэтажные деревянные купеческие дома... По окраинам — еще три или четыре церкви... За километр — речка, несущая воды с севера на юг... К ней приходится спускаться слева — по наклонной улице или идти там, где церковь Успенья — по крутой отрывистой тропинке... И наша семья... Она живет на небольшой улице — Парковой, на втором этаже... Че-рез три дома идет небольшой парк, ...все тихо, спокойно».

8

Война

И вдруг — все оборвалось.

«Я шел рано по городу, размышляя о своем будущем и направляясь в свой институт, как вдруг услышал (я даже вздрогнул!) страшную весть: война с Германией. Практика отменяется. Наш институт вынужден без каникул переключиться — учиться в следующих курсах. И мой курс — теперь он стал называться четвертым — тоже включился в учебу. Но немецко-фашистские варвары начали занимать нашу территорию. Необходимо было помочь родине. По комсомольской мобилизации комсомольцы нашего четвертого курса вызвались пойти на фронт, временно оставив институт до окончания войны...

И вот я уже воюю где-то на Западном. А вот я уже ранен в висок. А через месяц я снова на фронте, воюю с врагами. Время нашего отступления давно ушло. Наши войска только наступают, только движутся вперед и вперед. Шел уже 1943 год. Западный участок фронта. Смоленщина. Где-то под Вязьмой на реке Воря расположился взвод ранцевых огнеметчиков, которому поручено было соединиться со стрелковой ротой во время предполагаемого наступления против немцев. Взвод огнеметчиков во взаимодействии со стрелковой ротой собирались прорвать оборону немцев на том берегу Вори. Ожидали приказ к на-ступлению. Этого приказа рота и взвод ожидали вторые сутки. Начало марта месяца. Погода тихая, сол-нечная, но еще сырая. Валенки у всех промокли

насквозь, и всем хотелось немедленно наступать. Скорей бы вышел приказ к наступлению, скорей бы...

Я еще раз обошел бойцов (а я был как раз командиром взвода ранцевых огнеметчиков), побеседовал с каждым из бойцов, распределил взвод равномерно среди стрелковой роты и тоже стал ждать приказа. Я посмотрел на запад — на тот берег Вори, на котором находились немцы. Тот берег очень крут и высок. «Но трудности нужно преодолеть, и мы их преодолеем! — думал я. — Лишь бы вышел приказ!».

А вот и приказ. Все зашевелились. - Загрохотали наши орудия... Минута, другая, третья. И все стихло. И вдруг все быстро зашевелилось — все двинулись через ледяную реку. Солнце, казалось, ярко блестело, хотя оно уже и садилось. Немцы молчали. Два

или три немца быстро исчезли в глубине местности. Ни выстрела, ни звука. Вдруг засвистели пули немцев, застрекотали по бокам пулеметы. Засвистели пули и над моей головой. Я прилег. Но ждать долго нельзя, тем более, что наши орлы начали забираться наверх. Я вскочил со льда под пулеметным обстрелом, подался вперед — туда, на запад, и...».

После ранения

«Я начал приходить в себя в ярко освещенной палатке, где-то недалеко от передовой линии фронта...

Я почему-то ничего не мог припомнить, ничего не мог сказать... Голова была словно совершенно пустая, порожняя, не имевшая никаких образов, мыслей, воспоминаний, а просто тупо болела, шумела, кружилась.

Только изредка выплывал иногда мутный образ человека с плотным широким лицом, в очках, сквозь которые выглядывали раздраженные и даже свирепые глаза, показывающие врачам и санитарам, что-то делать со мной, когда я лежал на операционном столе.

Надо мной склонилось несколько человек в ярко-белых халатах, с ярко-белыми колпаками на голове, с марлевыми повязками, закрывающими лицо до самых глаз.

Я очень смутно помню, что лежал на операционном столе, а несколько человек крепко держат меня и за руки, и за ноги, за голову так, что я не мог даже пошевельнуть ни одним членом.

Я только помню, что меня держали санитары и врачи, помню, что я отчего-то кричал, задыхался... помню, что по моим ушам, шее бежала теплая, липкая кровь, а в губах и во рту ощущалась солоноватость...

Я помню, что мой череп трещал и гудел, что в голове ощущалась сильная и резкая боль...

Но сил больше нет, я не могу больше кричать, я задыхаюсь, дыхание мое остановилось, жизнь вот-вот отлетит от моего тела.

В то время у меня никаких мыслей не было. Я засыпал, просыпался. Думать о чем-нибудь, раз-мышлять, вспоминать что-нибудь в то время я совсем

не мог, так как моя память еле-еле, как и жизнь, теплилась и была очень плохая...

Я не сразу начал осознавать себя, что со мной, и долго не мог понять (в течение многих суток!), где же у меня рана... Я просто, кажется, превратился от ранения головы в какого-то странного ребенка.

Я слышу голос врача, который с кем-то разговаривает. Я не вижу врача и не обращаю на него вни-мания. Вдруг врач подходит ко мне, дотрагивается до меня чем-то и спрашивает: «Ну, как дела, товарищ Засецкий?» Я молчу, но уже начинаю думать, а что же это он мне говорит. И когда он мне несколько раз называет мою фамилию, я наконец вспоминаю, что фамилия «Засецкий» — это моя фамилия, и только тогда говорю ему: «...ничего»...

В начале ранения я казался совершенно новорожденным существом, которое смотрит, слушает, за-мечает, наблюдает, повторяет, воспринимает, а само еще ничего не знает. Таким был и я в начале ранения. С течением времени и после многократных повторений в моей памяти (речи и мышлении) нарастают различные сгустки — «памятки», от которых я начинаю запоминать течение жизни, слова (мысли) и значения.

К концу второго месяца ранения и я уже всегда помнил Ленина, солнце и месяц, тучу и дождь, свою фамилию, имя, отчество. Я даже иногда начинал припоминать то, что у меня есть где-то мать с двумя сестрами, что был и брат перед войной, который в начале войны (он служил в армии в Литве) пропал без вести.

И тогда мой товарищ по койке начал мной интересоваться и даже обещал написать моим родным письмо, когда я сумею припомнить свой домашний адрес. Но вот как мне припомнить домашний адрес?... — это страшно тяжелое дело. И я пожалуй бы не смог припомнить свой адрес, раз я даже не мог вспомнить имена своих сестер и матери».

11

«Что же со мной?»

Он все осознавал, он видел все, что окружает его, он знал, что он в госпитале, что вокруг него товарищи, что сестры и няни ухаживают за ним, что он был ранен и что с ним произошло что-то ужасное, но он чувствовал, что живет в ка-

11

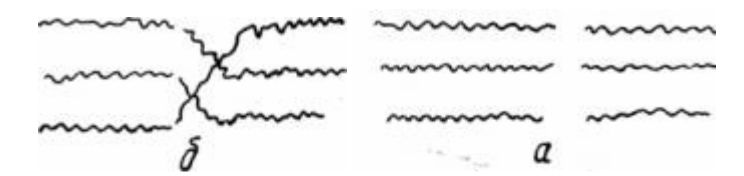
ком-то тумане, что мир стал не тот, что был раньше, что он сам стал какой-то другой, что теперь — все иное. Что же это?! Что же с ним?!

«В результате ранения я все забыл, чему когда-то учился и что когда-то знал... Я все забыл, и после ранения сызнова начал расти и развиваться до некоторого момента, а затем вдруг мое развитие приоста-новилось и так находится в недоразвитом положении и до сего времени. Главное же недоразумение было в моей памяти: я забыл все на свете, и теперь снова начинаю осознавать, запоминать, понимать уже той памятью, которой я пользовался еще в детстве...

Я сделался от ранения в полном смысле слова ненормальным человеком, но только я сделался не-нормальным человеком не в смысле сумасшедшего — нет, вовсе нет. Я сделался ненормальным человеком в смысле утраты огромного количества памяти и длительного невспоминания ее остатков...

В моем мозгу все время путаница, неразбериха, недостатки и нехватка мозга...

У меня раньше все было так (а), а теперь стало так (б).



Я нахожусь в каком-то тумане, словно в каком-то полусне тяжелом, в памяти ничего нет, я не могу вспомнить ни одного слова, лишь мелькают в памяти какие-то образы, смутные видения, которые быстро появляются, и так же быстро-быстро исчезают, уступая место новому видению, и ни одного видения я не в состоянии ни понять, ни запомнить...

Все то, что осталось в памяти, — распылено, раздроблено на отдельные части пословесно, без всякого порядка. И так у меня происходит в голове вот такая ненормальность с каждым словом, с каждой мыслью, с каждым понятием слова».

И это понимал не только он. Ему казалось — нет, он был уверен, что и другие видят это, что всем ясно, что теперь он

стал другим, ни к чему неспособным, видимостью человека, что в действительности он умер, — и лишь внешне продолжает жить, что на самом деле он был убит.

«Они теперь окончательно поняли, что значит проникающее ранение в голову; они помнят, каким я был до войны, до ранения, и каким сделался после ранения, вот теперь, — неспособным и непригодным ни к какому труду, ни к чему.

Я твердил всем, что после ранения я превратился в другого человека, что я был убит в 1943 году, 2 марта, но благодаря особой жизненной силе организма, я просто чудом остался в живых. Но хотя я и остался в живых теперь, тяжесть ранения изнуряет мое состояние, не дает мне покоя, и я без конца чув-ствую себя, будто я живу не наяву, а во сне, в страшном и свирепом сне, что я просто сделался не челове-ком, а тенью человеческой, я превратился в неспособного ни к чему человека».

Он был «убит 2-го марта»... и теперь живет непонятной жизнью, живет в полусне, и ему трудно верить, что он действительно живет...

«После ранения я по-прежнему живу до сих пор какой-то непонятной двойственной жизнью. С одной стороны, мне снится во сне, что я вдруг сделался таким ненормальным — почти совсем неграмотным, по-луслепым, больным. Я никак не могу поверить этому несчастью, которое произошло после моего ранения в голову.

...Я начинаю мыслить по-другому, а именно, что не может долго человек находиться во сне, тем более зная, что летит год за годом...

Я начал верить, что это я вижу сон, страшный сон!

Но я думал и по-другому: а вдруг это не сон, а результат ранения в голову! И мне тогда надо заново научиться запомнить все буквы, чтобы прочитать книги...

Мне трудно было верить в действительность, но и ожидать, когда я очнусь ото сна (а сон ли это?), мне тоже не хотелось. К тому же моя новая учительница убеждала меня, что я живу не во сне, а наяву, что идет уже третий год войны и что от тяжелого ранения в голову я стал больным и неграмотным...

Не сон ли я это вижу все время? Но сон не дол-

жен тянуться так долго и однообразно. Значит, не сплю я во сне эти годы, значит, не во сне нахожусь, а наяву. Но какая это страшная болезнь! До сих пор я не могу прийти в себя, до сих пор не узнаю себя, каким я был и каким я стал...

Я все еще по-прежнему время от времени обращаюсь к своему сегодняшнему разуму: «Я это или не я? Во сне ли я все еще живу или наяву?» Уж слишком длителен сон, чего не бывает в натуре, раз заметно летят года. А если это не сон, а явь, то отчего же я все болею, отчего все еще болит, шумит и кружится голова...

И я по-прежнему мечтаю встать в строй, я вовсе не хочу считать себя погибшим. Я стараюсь во всю осуществлять свои мечтания хоть по капельке, понемножку, по своим оставшимся возможностям. От этой раздвоенности: «Я это или не я?», «во сне ли я это все вижу или наяву?» — мне приходится подолгу думать и размышлять с больной головой, что мне делать и как мне быть?».

Время проходило, а мучительное состояние человека, у которого сознание было раздроблено на кусочки, не исчезало.

Уже фронт остался далеко позади. Промелькнула целая цепь госпиталей — сначала в Москве — тогда прифронтовом городе, затем в маленьких провинциальных городках. Здание бывшей школы — чистые большие палаты, бывшие классы. «Как вы себя чувствуете, Засецкий?» Потом снова поезда, автобусы. Потом длинный железнодорожный путь. Мелькают станции, все новые соседи в отделениях санитарного поезда. И потом Урал — Восстановительный госпиталь.

Восстановительный госпиталь

Он попал в тихое место, полное очарования, оазис в бурях войны, госпиталь, куда стекались сотни бойцов с такими же ранениями, как и у него.

Он хорошо помнил это место и с завидной яркостью описывал его:

«Кругом расстилаются замечательные картины: то появится огромное озеро, окаймленное хвойными деревьями, то другое озеро, еще больших размеров, то третье озеро; а вокруг, куда ни кинешь взглядом,

простираются огромные массивы хвойного леса... и когда взглянешь вверх, небо кажется темнее и отдает какой-то синевой, а солнце, наоборот, кажется ярким-ярким.

Толчки грузовой машины меня раздражают, да и болит рана, где-то внутри головы... Мне почему-то кажется, что машина давно уже кружит на одном месте... Но вот появляется еще одно озеро, а потом я неожиданно вижу большое трехэтажное здание, потом еще одно... все они рассыпаны по лесу... Машина останавливается, мы на месте».

Вся это удивительная красота — кругом; а внутри, в нем самом — пустота. Как это по-прежнему страшно!

Повязки на голове уже нет, она не нужна; снаружи рана зажила. Но в каком контрасте со всем

окружающим остается его мучительное состояние!

«Я по-прежнему мог читать только по слогам; как ребенок; я по-прежнему страдал и страдаю не-вспоминанием слова и его значения; по-прежнему меня держала и держит в руках «умственная афазия»; по-прежнему не возвращается ко мне память, мои знания, мое образование.

В моей голове струятся две мысли. Одна мысль твердит мне, что моя жизнь пропащая, ненужная теперь никому, что я останусь таким до самой смерти, которая расположена ко мне очень близко. Другая мысль твердит мне, что еще не все пропало, что нужно жить, что можно излечиться временем, что поможет еще и медицина, что я вылечусь с помощью медицины и времени.

Я сделался ненормальным человеком больше в смысле утраты огромного количества памяти и дли-тельного невспоминания ее остатков во время мышления...

Я стал таким человеком, что не могу говорить с людьми, не могу понимать различные вещи и понятия, не могу читать по-настоящему (что меня мучают головные боли и головокружения, различные приступы и боли).

И я чаще стал задумываться над жизнью, нужна ли она мне?

А тут еще вечные сомнения: «Во сне я живу или наяву?». По-прежнему я все еще не верил, что я так жестоко ранен в голову, что это все еще мне снится во сне. И время странно и быстро мчится так, словно я живу во сне...

15

Мимо меня проходят месяцы, годы, десятилетия. Значит, не во сне мне все это снится, а вижу я и ощущаю настоящую действительность, которая отразилась после моего ранения в худшую сторону во сто крат!..

Мне кажется почему-то, что я брожу во сне по какому-то заколдованному замкнутому кругу, из которого не видно для меня выхода...

Я гляжу непонятными глазами на окружающий меня мир, вспоминаю о не так давно случившемся странном ранении в голову, вспоминаю о последствиях этого страшного ранения. И у меня просто часто волосы становятся дыбом, и я думаю, неужели все это произошло наяву, а не во сне, неужто... неужто... это будет так до печального конца моей жизни?».

Как красочно он воспринимает природу, каким полным обаяния остается для него окружающее; но как изменился для него этот мир, как трудно доходит до него все, что он воспринимает...

«Я понимаю, что окружающий мир — это все то, что я вижу, слышу, ощущаю, осознаю своей головой. После ранения мне тяжело понимать и осознавать окружающий мир. Помимо того, что я и до сих пор иногда не могу сразу вспомнить из памяти нужное мне слово, когда видишь окружающее, или представ-ляешь в уме (предмет, вещь, явление, растение, зверя, животное, птицу, человека), или, наоборот, слышишь звук, слово, речь, но не сразу можешь вспомнить или понять его».

Что же это такое? Почему все стало таким другим? Почему он вдруг оказался в мире, расщепленном на тысячи кусков? Почему его мысли не могут собраться в одно целое?

16

Наша встреча

Я встретился с моим героем в конце мая 1943 года, почти через три месяца после ранения; встретился, чтобы не прерывать с ним связи и внимательно следить за его жизнью двадцать шесть

лет, из года в год, иногда с перерывами, иногда неделя за неделей.

16

Так началась наша дружба, так я стал свидетелем длительных и мучительных лет его настойчивой, упорной борьбы со своим поврежденным мозгом, борьбы за то, чтобы, оставшись в живых, вернуться к жизни.

«В мой кабинет в восстановительном госпитале вошел молодой человек, почти мальчик, с растерянной улыбкой, он глядел на меня, как-то неловко наклонив голову, так, чтобы лучше меня видеть: позже я узнал, что правая сторона зрения выпала у него и чтобы рассмотреть что-то, он должен был повернуться, используя сохранную у него левую половину.

Я спросил его, как он живет, он помолчал и робко сказал: «Ничего». Я спросил его, когда он был ранен, и этот вопрос, по-видимому, поставил его в тупик: «...вот ...ну вот ...как это... уже сколько... наверное, два... или три...». Откуда он родом? «Ну вот... дома... я вот хочу написать... и никак...». Кто у него там? «...вот ...мама ...и еще ...ну как их обеих звать?..».

Он явно сразу не схватывал смысл моего вопроса и слова не приходили ему сразу в голову; каждый ответ вызывал у него мучительные поиски.

«Попробуйте прочитать эту страничку!» — «...Нет, что это?.. не знаю... я не понимаю что это... Нет... какое это?». Он пытался рассматривать листок, ставя его боком перед левым глазом, переводил его в стороны, удивленно разглядывая слова и буквы: «Нет... не могу!..». «Ну, тогда напишите свое имя, откуда вы?». И снова мучительные попытки: рука как-то неловко берет карандаш, сначала не тем концом, потом карандаш начинает искать бумагу, снова безуспешные попытки — но буквы не получаются — он растерян — он ничего не может написать! Он действительно стал неграмотным. «Ну, попробуйте посчитать, что-нибудь простое, например, сложи-те семь и шесть!..» — «Семь... шесть... как же это... семь... нет, я не могу.., нет, я совсем не знаю...». «Ну, посмотрите на привале», — «...вот ...что же ...сидит ...и этот ...а здесь как-то... что же это? И вот этот... не знаю... наверное здесь что-то... ну как же это?!...». «А теперь поднимите вашу правую руку!» — «Правая... правая... левая... нет, я не знаю... Где же правая рука?!.. Что такое правый... или левый... Нет... Нет... У меня ничего не выходит...».

Какие мучительные, судорожные попытки вызывает каждый вопрос, какие острые переживания беспомощности он рождает.

«Ну, тогда расскажите, как вы пошли на фронт» - «...ну... уже стало тут... это... стало у нас складываться... нехорошее... отступать... ну... и тут все!... Я уже решил, что все...

17

раз уж такое дело вышло... ну вот... Ну вот... Меня проучили... сколько?.. Пять... это... потом меня выпустили... и потом наступление... Я ясно помню... это... ну вот ранили... ну вот и все...». Как мучительно пробовать рассказать о том, что еще свежо в памяти, как безуспешны попытки найти нужные слова!

«Ну, скажите, какой сейчас месяц?» — «Сейчас... как это... сейчас май!!». И на лице улыбка: все-таки слово найде-но. «Ну, пересчитайте: «январь, февраль, март». — «Да, да... март, апрель, май, июнь... вот». И он снова доволен. «А терем?» — «Перед сентябрем?... Ну как же это?... Сентябрь, октябрь... нет... и потом октябрь... как же это... октябрь... нет, не так... нет... так я не могу!..» «Какой месяц перед сентябрем?» — «Перед сентябрем?.. Ну, как же это?.. Сентябрь, октябрь... нет, не так... у меня не получается...». — «А что бывает перед зимой?» — «Перед зимой... или после зимы... лето... или что-нибудь... нет. Это у меня не выходит...». — «А перед весной?» — «Перед весной... сейчас весна... а вот до... или после... я уже теряюсь... нет... У меня не выходит...». И снова мучительные, безуспешные попытки.

Что же это такое?

Он по-прежнему ясно воспринимает окружающую природу. Он переживает ту тишину, которая его окружает, он восторженно вслушивается в шум леса и вглядывается в гладь озера. Он настойчиво пытается выполнить задание, ответить на вопрос, найти нужное слово. И как мучительно он переживает каждую трудность, каждую неудачу. С какой легкостью он перечисляет привычный порядок: «январь, февраль, март, апрель...». Как это все просто! Но почему он не может сказать, какой месяц перед сентябрем? Почему он не знает, где его правая и левая рука? Почему он не может сложить два простых числа? Почему он перестал узнавать буквы? Почему он не может писать? Почему каждая попытка назвать предмет или рассказать содержание картинки делает его таким беспомощным?!

Что с ним?

Что это за ранение мозга, которое оставило непосредственное восприятие мира таким сохранным, пощадило намерения, желания, оставило незатронутым тонкость переживаний, пощадило способность ясно оценивать каждую свою неудачу и вызвало такие страшные, мучительные трудности при каждой попытке найти слово, выразить мысль, прочитать написанное или сложить два числа, которые с такой легкостью складывает ученик второго класса начальной школы?

Что случилось с ним? Ну что же это такое?

18

Выписка из истории болезни № 3712

«Младший лейтенант Засецкий, 23 лет, получил 2 марта 1943 года пулевое проникающее ранение черепа левой теменно-затылочной области. Ранение сопровождалось длительной потерей сознания и, несмотря на своевременную



Рис. 1а. Рентгеновский снимок черепа больного Засецкого после введения воздуха в желудочки мозга (пнеймоэнцефалограмма). На нем можно видеть резко расширенный левый боковой желудочек и скопление воздуха в подоболочечных пространствах мозга теменно-затылочной

области левого полушария

обработку раны в условиях полевого госпиталя, осложнилось воспалительным процессом, вызвавшим слипчивый процесс в оболочках мозга и выраженные изменения в окружающих тканях мозгового вещества».

19

Осколок внедрился в вещество задних, теменно-затылочных отделов мозга и разрушил мозговую ткань этой области.

Ранение осложнилось воспалительным процессом; он не распространенный, местный, ограничен лишь областями мозга, примыкающими к непосредственному месту ранения, но теменно-затылочные отделы левого полушария, отделы, так



Рис. 16. Черное пятно в правом полушарии — осколок, расположенный под кожей от поверхностного шрапнельного ранения, полученного им за год до основного ранения

тесно связанные с анализом пространственного мира, необратимо повреждены, и уже начинается процесс образования рубцов, который неизбежно повлечет за собою частичную атрофию расположенных вблизи ранения участков мозгового вещества.

И через десять лет после ранения - еще одна выписка из истории болезни, на этот раз сделанная на основе рентгенограммы.

20

В спинномозговой канал введен воздух. Он поднялся вверх, заполнил контуры желудочков мозга и те пустоты, которые образовались в результате сморщивания вещества отделов мозга, непосредственно примыкающих к месту ранения. «Процесс рубцевания вызвал атрофические изменения в левом боковом желудочке. Стенки его подтянуты к поверхности мозга, подоболочечные пространства резко расширены. Значительный местный атрофический процесс».

Ранение вызвало местную атрофию мозгового вещества левой теменно-затылочной области.

К каким же следствиям приводит этот процесс? Как объяснить картину тех глубоких изменений, которые мы описали выше и которую так хорошо знает сам больной?

Перейдем к некоторым данным науки о функциях мозга и ее отдельных частей.

21

Несколько страниц из науки о мозге

(ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ)

Мозг вынут из черепа и положен на стеклянный столик.

Перед нами серая масса, вся изрезанная глубокими бороздами и выпуклыми извилинами. Она разделяется на два полушария — левое и правое, соединенных плотной мозолистой связкой. Снаружи это вещество равномерно серого цвета; это кора больших полушарий; ее толщина едва достигает 4 — 5 миллиметров; она состоит из огромного числа нервных клеток, которые и являются материальной основой всех сложнейших психических процессов. Кора наружных отделов по своему происхождению более молодая, кора обращенных внутрь отделов полушарий - более старая. Под тонким слоем коры — белое вещество, которое состоит из огромного числа плотно прилегающих друг к другу волокон, которые связывают отдельные части мозговой коры друг с другом, доводят до коры возбуждения, возникающие на периферии, и направляют на периферию программы действий, сформирован-ных в коре. А еще глубже — снова участки серого вещества — подкорковые ядера мозга — самые древние и самые глубокие аппараты, в которых останавливаются возбуждения, идущие с периферии, и в которых они получают свою первоначальную обработку.

Как однородно и скучно выглядит мозг — этот высший продукт эволюции, этот орган, который получает, перерабатывает и хранит информацию, орган, который создает программы деятельности и регулирует их выполнение.

21

Совсем недавно мы еще очень мало знали о нем, о его строении и его функциональной организации, и учебники были заполнены смутными предположениями, среди которых выделялись только островки четкого знания, и фантастическими домыслами, которые делали карты мозга мало отличающимися от средневековых географических карт мира.

Сейчас, благодаря работам выдающихся ученых многих стран мира мы знаем о человеческом мозге гораздо больше, и хотя наши представления о нем находятся еще на самых первых ступеньках подлинной науки, они уже далеки от тех неясных догадок и непроверенных домыслов, которыми ограничивались знания наших дедов.

Именно эти данные и позволят нам ближе разобраться в том, что же вызвало ранение у нашего героя.

Можно с уверенностью утверждать, что впечатление об однородности и такой невыразительности серой массы, которое мы получаем при первом рассматривании мозга, явно расходится с той невероятной сложностью и расчлененностью, которой в действительности обладает этот орган. Серое вещество — его главная часть не только состоит из необычайного числа нервных клеток, основных единиц мозговой деятельности (одни ученые исчисляют их количество числом 14 миллиардов, другие называют еще более высокие цифры). Основное заключается в том, что эти нервные элементы распределены в строго организованном порядке, и отдельные об-ласти или «блоки» мозга несут строго определенные и коренным образом отличающиеся друг от друга функции.

Сознательно идя на некоторое, но вполне допустимое при рассмотрении этих сложных вопросов упрощение, мы имеем все основания выделить в головном мозге человека три важнейших составных части — три основные блока этого удивительного аппарата.

Первый из них мы можем назвать «энергетическим блоком», или «блоком тонуса». Он расположен в глубине мозга, в пределах верхних отделов мозгового ствола и тех образований серого вещества, которые составляют древнейшую основу его жизнедеятельности.

Часть из этих образований трудно полностью отнести к нервной ткани: это — полунервная, полусекреторная ткань; этот участок мозга входит в состав особой части — гипоталамуса и регулирует сложнейшие процессы химического обмена веществ в организме. Усвоение химических веществ, жировой обмен, рост, деятельность желез внутренней секреции — все это регулируется скоплениями серого вещества этой части мозга.

Другая часть этого блока, расположенная в пределах глубоких серых образований, которую древние назвали «зри-

тельным бугром» (и которая на самом деле имеет лишь отдаленное отношение к зрению), является первой станцией для того потока информации, которая приходит от наших органов чувств и направляется к мозгу.

Процессы, происходящие в сети нервных клеток этого блока, создают потоки возбуждения, которые возникают от процессов обмена внутри организма и от раздражения наших органов чувств и которые затем направляются к мозговой коре, придавая ей нормальный тонус, обеспечивая ее бодрствование. Если приток этих импульсов исчезает, тонус коры снижается, человек впадает в полусонное состояние, затем — в сон. Это — аппарат, обеспечивающий «питание» мозга, как источник энергии обеспечивает «питание» электронных приборов.

Этот блок остался сохранным у нашего больного, и поэтому его бодрственное сознание и общая активность остались у него ненарушенными.

Второй основной блок головного мозга расположен в задних отделах больших полушарий и несет очень важную функцию. Часть именно этого блока была разрушена ранением у нашего больного, и мы должны остановиться на нем подробнее.

Этот блок не связан с обеспечением бодрствования коры, это — дело первого блока, который мы только что описали. Его основная роль заключается в том, что он является блоком приема, переработки и хранения информации, доходящей до человека из внешнего мира.

Человек получает бесчисленное множество сигналов из окружающего его мира; его глаз воспринимает тысячи предметов — знакомых и незнакомых. Их отражение вызывает возбуждения в сетчатке нашего глаза и по тончайшим нервным волокнам доходит до затылочных отделов коры головного мозга — зрительной области мозговой коры. Здесь зрительный образ разлагается на миллионы составляющих его признаков: в коре затылочной области есть нервные клетки, специализировавшиеся на восприятии тончайших оттенков цвета, реагирующих только на плавные, округлые или только на угловатые линии; только на движения от краев к центру или от центра к краям. Это «первичная зрительная кора» — поистине удивительная лаборатория, дробящая образы внешнего мира на миллионы составляющих частей. Эта часть коры, расположенная в самых задних участках затылочной области, тоже осталась у нашего героя сохранившейся.

К ней примыкает другая часть затылочной области — специалисты называют ее «вторичной зрительной корой». Вся толща этой коры состоит из мелких нервных клеток с короткими

отростками, они похожи на маленькие звездочки и по-

23

лучили название «звездчатых клеток». Они расположены в верхних слоях мозговой коры; к ним доходят возбуждения, возникшие в клетках «первичной зрительной коры», и они объединяют их в целые сложные комплексы в «динамические узоры»: отдельные дробные признаки они превращают в целые сложные структуры.

Прикоснемся острием, заряженным электрическим током, к «первичной» зрительной коре (это легко можно сде-лать во время операций на головном мозгу и это совершенно безболезненно), и у человека перед глазами возникнут рассыпанные светящиеся точки, светящиеся шары, языки пламени.

Прикоснемся этим острием к какому-нибудь месту «вторичной» зрительной коры, и человек увидит какие-то сложные узоры, иногда целые предметы: вот перед ним склоняются деревья, вот прыгает белка, вот идет друг и делает ему знак рукой.

Электрическое раздражение этих «вторичных» отделов зрительной коры оказалось способным вызвать из памяти прошлого образы предметов, наглядные воспоминания. Это — аппарат, перерабатывающий и хранящий информацию, и мы должны быть благодарны ученым из разных стран — Ферстеру из Германии, Петцлю из Австрии, Пенфилду из Канады — за то, что они открыли нам новый и такой захватывающий мир работы мозга.

Зато какие тяжелые последствия вызывает ранение этих отделов коры!

Ранение, разрушающее «первичную» зрительную кору одного полушария или пучки нервных волокон, которые идут к этой коре, неся зрительные возбуждения (они распространяются изящной петлей внутри мозгового вещества и получили красивое название «зрительного сияния»), приводит к тому, что часть того поля, которое видит глаз, стирается, становится невидимой; разрушение «первичной» зрительной коры или ее волокон левого полушария вызывает выпадение правой половины зрительного поля, а разрушение этой же части коры правого полушария — выпадение левой половины зрения. Врачи называют такое явление сложным и неудобным термином «гемианопсия» (половинное выпадение зрения).

Еще более причудливая картина возникает при разрушении «вторичной» зрительной коры.

Человек, у которого осколок снаряда или пуля попали в передние отделы затылочной области — а они-то и являются частями «вторичной» зрительной коры — продолжает видеть предметы с такой же четкостью, с какой он видел их раньше. Но его маленькие «звездчатые» клетки, синтезирующие отдельные, дробные зрительные признаки в целые системы,

24

перестают работать, и его зрение претерпевает удивительную метаморфозу: он по-прежнему хорошо видит отдельные части, но не может синтезировать их в целые образы предметов и принужден догадываться о значении отдельных воспринимаемых им предметов так же, как ученый, разбирающий древнюю ассирийскую клинопись, догадывается о значении отдельных значков. На картине, которая показывается такому больному, изображаются очки. Что это такое?.. Кружок... еще кружок... перекладина... и какая-то палка... и еще . палка... Наверное, велосипед?!.. Нет, такой больной не может воспринимать предметы, хотя продолжает видеть отдельные признаки. У него появилось сложное расстройство, которое врачи обозначили латино-греческим словом «оптическая агнозия» (распад зрительного познания).

Но путь мозговой организации познания мира еще не закончен.

Ведь мы не просто воспринимаем отдельные предметы; мы воспринимаем целые ситуации; мы

воспринимаем предметы в их сложных связях, соотношениях; мы размещаем их в пространстве: тетрадь лежит на столе справа, чернильница стоит слева; чтобы пройти по коридору в свою комнату, надо свернуть сначала налево, потом направо. Вещи размещены в целой системе пространственных координат, и мы сразу же схватываем их пространственное расположение.

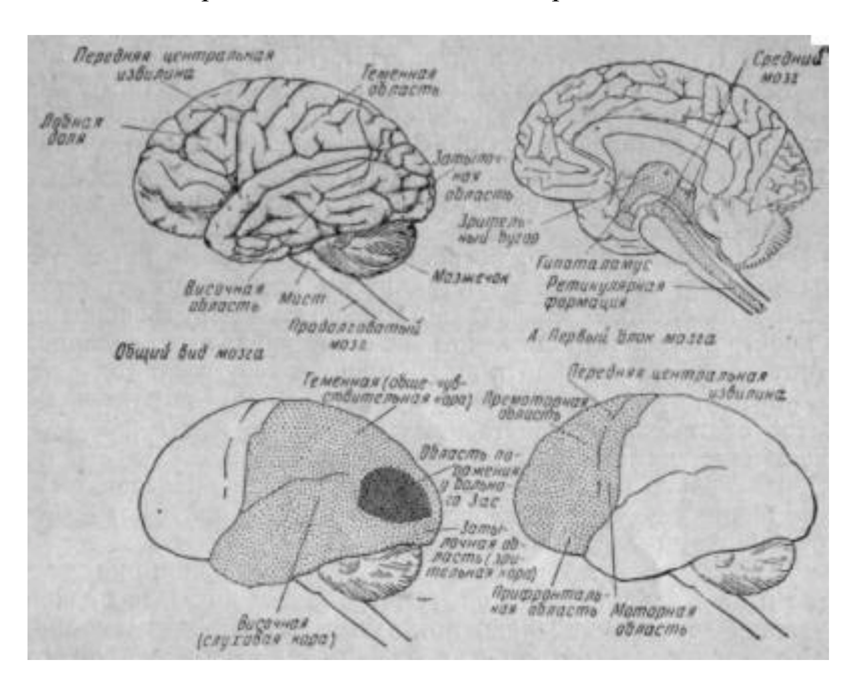
Насколько восприятие целых ситуаций и пространственного размещения вещей сложнее, чем простое зрительное восприятие фигуры или даже предмета!

В нем участвует не только глаз, в нем принимает участие и наш двигательный опыт: тетрадь можно взять правой рукой, к чернильнице надо потянуться левой; в нем принимает участие и особый орган, скрытый в глубине нашего уха — «вестибулярный» аппарат, обеспечивающий чувство равновесия, так необходимое для оценки трехмерного пространства; оно осуществляется при ближайшем участии движений глаз, которые промеряют расстояние от одного предмета до другого и прослеживают их соотношения переводом взора... Только организованная совместная работа этих разных систем может обеспечить перекодирование отдельных по-следовательных впечатлений в целую, одновременно (или как предпочитают говорить ученые — «симультанно») организованную систему.

Естественно, что такое «симультанное», пространственное восприятие требует участия новых, еще более сложных отделов мозговой коры.

Такие отделы существуют. Они расположены на границе затылочной, теменной и височной области и составляют аппарат той «третичной» познавательной (теперь мы уже можем сказать — гностической) коры, в которых объединяется

работа зрительных (затылочных), осязательно-двигательных (теменных) и слухо-вестибулярных (височных) отделов мозга. Эти отделы — самые сложные образования второго блока человеческого мозга. В истории эволюции они возникли позднее всего и мощно разрослись только у человека. Они еще совсем не готовы к действию у только что родившегося ребенка и созревают только к четырем-семи годам. Они очень ранимы и небольшие нарушения легко выводят их из



Б. Второй блок мозга В. Третий блок мозга

Рис. 2. Основные «блоки» человеческого мозга и локализация поражения у Зас.

строя. Они полностью состоят из сложнейших «ассоциативных» клеток, и многие ученые называют их «зонами перекрытия» зрительных, осязательно-двигательных и слухо-вестибулярных отделов мозга (рис. 2).

Именно эти «третичные» отделы коры и разрушил осколок у нашего героя.

Что меняется, когда части этого отдела коры разрушаются осколком или пулей, кровоизлиянием или опухолью?

Зрение человека может оставаться относительно сохранным; только если осколок прошел через волокна «зрительного сияния», разрушив часть из них, в зрении появляются пустоты, слепые пятна, выпадает целая часть (иногда половина)

зрительного поля. Человек продолжает воспринимать отдельные предметы (ведь «вторичные» отделы зрительной коры остались сохранными). Он может и воспринимать предметы на ощупь, слышать звуки, воспринимать речь...

И все же, что-то очень важное оказывается у него глубоко нарушенным: он не может сразу объединить впечатления в единое целое, он начинает жить в раздробленном мире.

Он ощущает свое тело: рука, еще рука, нога, еще нога... Но которая рука — правая?.. а где левая? Нет, он не может сразу разобрать это. Для этого нужно разместить руки в системе пространственных координат, отличить правую сторону от левой. Он начинает застилать кровать, но как положить одеяло — вдоль или поперек? И как одеть халат: какой рукав правый, а какой левый? И как понять, какое время показывают стрелки на часах? Ведь «3» и «9» размещены в совершенно одинаковых точках, только одна — слева, а другая справа. А как определить «правое» и «левое»? Нет, каждый шаг в этом мире начинает становиться таким сложным.

Но и на этом не заканчиваются трудности, которые начинает испытывать человек, попавший в этот «раздробленный мир».

«Третичные» области теменно-затылочно-височной коры левого полушария имеют ближайшее отношение к организации еще одной, на этот раз важнейшей, психической деятельности — речи.

Еще больше ста лет назад французский анатом Поль Брока открыл, что поражение задних отделов нижней лоб-ной извилины левого полушария вызывает у человека распад «моторных образов слова» и лишает его возможности говорить, а через несколько лет после него немецкий психиатр К. Вернике обнаружил, что поражение задних отделов верхней височной области того же левого полушария (у правши) лишает его возможности различать звуки речи и понимать обращенную к нему речь.

Человек работает правой рукой; он пишет ей, она играет у него основную, ведущую роль. Но ей управляет противоположное — левое полушарие; и оно-то вместе с этим обеспечивает самую сложную из всех деятельностей, которыми располагает человек — речь.

Но ведь речь участвует не только в разговоре — передаче сведений одного человека другому. Она необходимо участвует и во всех сознательных процессах самого человека. Мы называем воспринимаемые нами предметы словом; словом мы обозначаем направления и расположения: «справа», «слева», «сзади», «спереди», «под», «над»; грамматическими сочетаниями слов мы выражаем любые соотношения, любые мысли; с помощью речи — пусть произносимой про себя, пусть сокращенной — мы обозначаем числа, производим вычисле-

ния: сложение, вычитание, деление; с помощью речи мы проникаем в глубь воспринимаемого

мира, выделяем существенное, отвлекаемся от несущественного, обобщаем отдельные впечатления в целые категории, мыслим...

Нет, речь служит не только для общения людей друг с другом, она проникает глубоко в наше восприятие и память, в мышление и поступки; она организует наш внутренний мир, и может быть мы говорим (пусть неслышно и свернуто, не с другими, а сами с собой), даже тогда, когда мы молчим.

Не делает ли это совершенно естественным, что разрушение «третичных» отделов коры левого полушария приводит к еще более тяжелым последствиям, чем те, которые мы только что описали?

Человек с таким поражением начинает жить в раздробленном внутреннем мире: он не может вовремя найти нужного слова, оказывается не в состоянии выразить в словах свою мысль; начинает испытывать мучительные трудности, пытаясь понять сложные грамматические отношения; не может считать; все, чему он научился в школе, вся система его прежних знаний распадается на отдельные, не связанные друг с другом куски.

Его мир, казалось бы, остается тем же самым, но как глубоко он изменился. В какие трагические лабиринты попадает этот человек, начинающий жить в таком раздробленном мире. Какие страшные последствия вызывает это небольшое ранение мозга.

Казалось бы, разрушения хотя бы части этого важнейшего блока человеческого мозга достаточно, чтобы целиком вывести человека из жизни, чтобы лишить его самого важного, что есть в человеческой личности, сделать его беспомощным инвалидом, разбить его настоящее, лишить его будущего.

Однако остается еще и третий основной блок мозга, о котором мы еще ничего не говорили и который остался у нашего героя неповрежденным.

Этот блок расположен в передних отделах мозга и включает в свой состав его лобные доли: он не обеспечивает тонуса коры, не принимает информации из внешнего мира, не перерабатывает и не хранит ее. Он связан с внешним миром через посредство аппаратов второго блока и может успешно работать только, если первый блок обеспечивает нужный уровень бодрствования коры.

Однако его функция решающе важна: третий блок мозга является мощным аппаратом, позволяющим формировать и сохранять намерения, формулировать программы действий, регулировать их протекание и контролировать их успешное выполнение. Это — блок программирования, регуляции и контроля человеческой деятельности.

28

Мы не будем рассказывать о нем подробно; в других местах мы специально сделали это *.

Важно одно: поражение передних отделов мозга, включающих его лобные доли, создает картину, резко отличающуюся от описанной. Человек сохраняет свое восприятие и память; система знаний остается у него ненарушенной. Он продолжает жить в прежнем мире, но какая это жизнь! Он теряет всякую способность создавать прочные намерения и планировать свою деятельность, он не может создавать программы своего поведения и контролировать их выполнение; он может лишь отвечать на те сигналы, которые до него доходят, но оказывается не в состоянии превращать их в сложную систему кодов, управляющих его поведением. Он лишается возможности оценивать свои дефекты, переживать их и работать над их исправлением, он не может задуматься над тем, что он будет делать через минуту, час, день. Сохранив свое прошлое, он лишается своего будущего, а вместе с тем теряет то, что собственно и делает человека человеком.

Аппараты третьего блока остались полностью сохранные у нашего героя, а вместе с ними осталось сохранным и переживание его дефектов, и стремление преодолеть их, острая потребность снова стать полноценным человеком и сколько хватит сил мучительно работать над их преодолением.

Он глубоко и трагически пострадал, мир его разбился, но он полностью остался человеком, и больше: он борется за то, чтобы вернуть потерянное, чтобы восстановить свой мир, чтобы снова стать таким, каким он был прежде.

«Мне стало тяжело и невыносимо осознавать свое бедственное и печально-трагическое положение, в котором я находился. Ведь я сделался... неграмотным, беспамятным, больным. Но опять в оживают моей душе надежды на излечение от этой страшной болезни мозга. В моей голове зарождаются фантазии и мечты, что пройдут головные боли и головокружение, возвратится зрение, улучшится слух, вернется прежняя память и грамотность...

Но люди, конечно, не замечают настоящего моего положения, не замечают они, с какими мучениче-скими усилиями я добивался сегодняшнего положения.

После ранения весь мир перевернулся в моих глазах словно наизнанку, и я до сих пор не узнаю себя, словно я живу в страшном заколдованном сне.

* См. А. Р. Лурия. Высшие корковые функции человека, 2-е изд. Изд-во МГУ, 1969; «Мозг человека и психические процессы», т. I М Изд-во АПН РСФСР, 1963; т. II. М., «Педагогика», 1970; А. Р. Лурия и Е. Д. Х о м с к а я. Лобные доли и регуляции психических процессов Изд-во МГУ, 1966.

29

Но мне все еще хотелось верить, что я еще смогу доказать человечеству, что я еще не совсем про-павший, не совсем погибший человек — вот только заново научиться помнить и говорить, мыслить и пони-мать все то, что держалось когда-то в голове моей, неплохой до этого ранения. Конечно, время от времени я падал духом от этой страшной болезни беспамятства. Но я по-прежнему мечтаю встать в строй, почему я и не хочу считать себя погибшим. Я стараюсь вовсю осуществлять свои мечтания хоть по капельке, понемножку, по своим оставшимся возможностям...

Я все же еще не теряю надежды на то, что я все же сумею приспособиться к какому-нибудь труду. И я хочу надеяться, что я еще принесу немалую пользу своему народу. Я надеюсь на это».

30

Первые шаги

в раздробленном мире

Перелистаем книгу его воспоминаний. Вернемся к первым дням и неделям его заболевания, к первым страницам этой книги.

Что скажут они нам? Как начиналось это страшное заболевание? Как постепенно складывался этот раздробленный на куски мир, складывался, чтобы так и остаться разбитым?

...Он в госпитале. Вокруг него склонились какие-то лица... вот появляется одно из них... вот другое... «Ну, как вы себя чувствуете, товарищ Засецкий?»...

Перелистаем отдельные страницы его тетрадей, на которых он вспоминал свое прошлое, описал переживания первых недель своего ранения.

Зрение

С ним что-то случилось, что-то никогда не бывавшее раньше.

Он смотрит вокруг — и что же это? Он не может увидеть сразу ни одной вещи: мир раздроблен на куски, и куски не складываются в целые предметы, целые картины. Правой стороны того, на что он пытается смотреть, вообще нет, вме-

30

сто нее он видит ровную серую пустоту. Но и вещи перестали быть целыми, их надо собирать, о них надо догадываться.

«После ранения по-настоящему целиком я не могу видеть ни одного предмета, ни одной вещи. Мне приходится теперь все время довоображать их — эти предметы, вещи, явления, все живое, т. е. представлять их в уме, в памяти, полными, цельными, оглядев их, ощупав, представив непосредственно или образно. Даже небольшую чернильницу я не в состоянии увидеть целиком. Правда, некоторые вещи я представляю такими, какими я их знал и помнил до ранения, но большинство вещей, предметов, явлений, существ я забыл, а снова их уже осознаю, представляю скорее всего не так, как я их представлял или представил бы до ранения...

...И теперь я уже не вижу ни одного предмета, ни одной вещи, ни одно существо полностью, как видел до ранения, теперь я вижу только по частям...

...Когда я смотрю на ложку, на ее левый кончик, то я удивленно не пойму, почему я только вижу один кончик ложки, а не всю ложку, которая казалась мне тогда каким-то странным кусочком пространства, которого я даже пугался иногда, теряя ложку в супе».

И он рисует свое измененное поле зрения: вот как он видел раньше — вот как он видит теперь (см. рис. 3).

Но и этого мало. То, что он видит, потеряло свою устойчивость, предметы мерцают, сдвигаются, все становится таким зыбким.

«Я вижу сквозь видимые мною предметы бесчисленное множество, просто мириады, шевелящейся движущейся мельчайшей мошкары, которая мешает долго глядеть на настоящие предметы. Из-за этой мошкары я не вижу нормально первой буквы (от центра зрения) такой чистой, а вижу ее не чистой, общипанной, объеденной, с мерцающими точками, иглами, нитями, обсыпанной мошкарой. Все это я вижу теперь своими собственными глазами, вижу сейчас сквозь окно этот островок зрения, и в этом островке вижу, как все мчится внутри островка и по кругу».

Иногда к этому присоединяются галлюцинации: в разрушенной части мозга начинается рубцевание, это раздра-жает нервные клетки, хранящие зрительные воспоминания; и снова начинаются мучения — мучения человека с разбитым на куски миром, мучения расстроенного зрения.

31

Схема гемианопсии

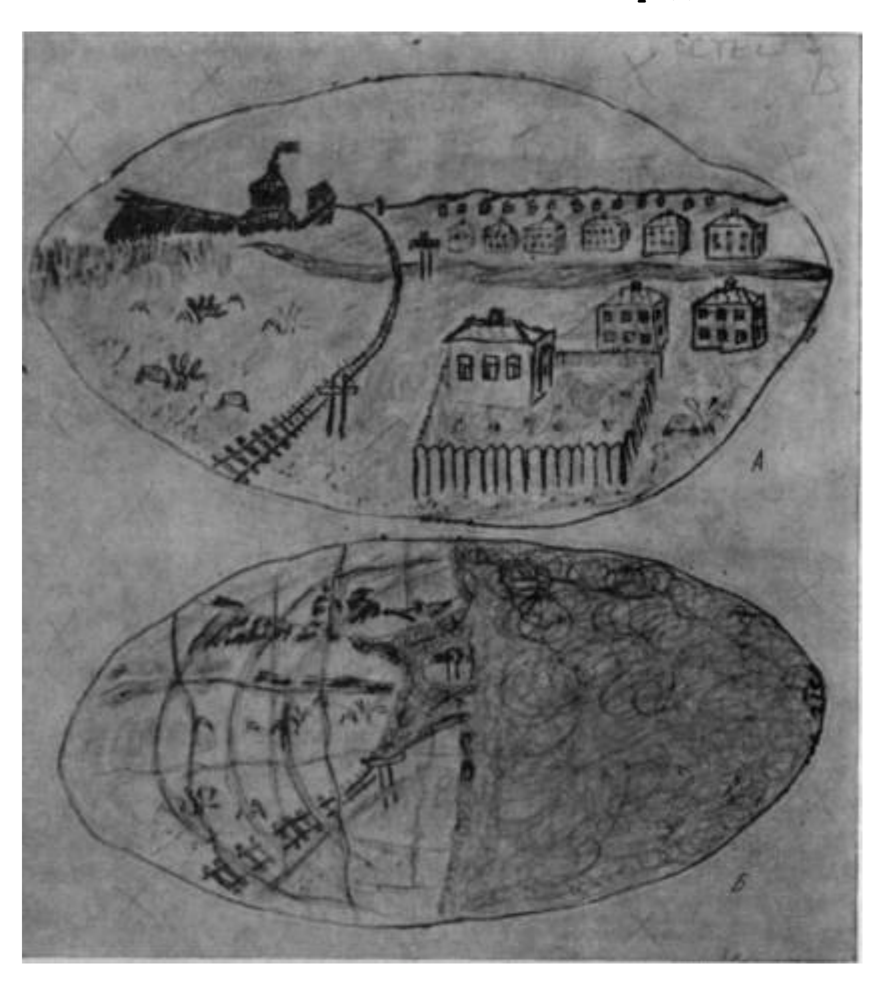


Рис. 3. Схема ограничения зрительного поля (гемианопсия), нарисованная самим больным:

А — поле зрения до ранения; Б — поле зрения после ранения

(правая половина поля зрения выпала)

«Двое суток я просто глаз не смыкал, и в то же время как будто галлюцинации ко мне привязались... Вот скверно: закрою глаза и мигом спешу их открыть, а то в глазах видно что-то странное — лицо че-ловеческое с ушами с громадными кажется мне, со странными глазами. А то просто кажутся мне различные лица, предметы и комнаты разные, и я скорей открываю глаза».

И так трудно жить в этом раздробленном мире, где выпала половина всего окружающего и где нужно заново ориентироваться во всем.

«Я вышел в коридор, но, пройдя несколько шагов по коридору, вдруг ударился правым плечом и правым лбом о стенку коридора, набив шишку на лбу. Меня взяло зло и удивление: отчего же это я смог удариться вдруг? Но отчего же я наткнулся на стену коридора, я же должен был увидеть стену и не столкнуться с ней?

Нечаянно я бросил взгляд еще раз по сторонам, на пол, на ноги... и вдруг я вздрогнул и побледнел: я не видел перед собой правой стороны тела, руки, ноги... Куда же они могли исчезнуть?».

Эти дефекты зрения остаются, проходят месяцы и годы, а они по-прежнему тут, зрение все так же разбито на куски, разрушено, и он мучительно начинает пытаться понять, что же с ним случилось,

описывает каждый свой дефект, экспериментирует над своим разрушенным зрением.

«Я перестал видеть после ранения наполовину с правой стороны и левого, и правого глаз. Конечно, по виду глаза кажутся такими же нормальными, как и у всех людей... и поэтому по глазам нельзя определить, вижу я или нет.

Это значит, что, если я буду глядеть каким-нибудь глазом (все равно каким) в точку, то справа от точки по вертикальной линии и вправо от нее я не вижу правой площади поля зрения, а слева я вижу левое поле зрения, но только там тоже есть много невидимых мест — пустот в поле зрения. Когда я начинаю читать слово, хотя бы слово г-о-л-о-в-о-к-р-у-ж-е-н-и-е, то я сейчас гляжу на букву «к» — на ее самый верхний правый кончик — и вижу только буквы слева «в-о-к», справа же от буквы «к» и во все стороны я ничего не вижу; слева же от буквы «к» я вижу две буквы «в-о», а дальше еще влево и опять ничего не

33

вижу. Но если вести карандашом дальше влево, то я опять начинаю видеть движение от карандаша, но букв я еще не вижу. Значит, мало того, что я не вижу ничего с правой стороны поля зрения и левого и правого глаз, я еще не вижу окружающий меня мир в некоторых частях глаз, находящихся по левую сторону поля зрения».

34

Тело

Но разрушенное, раздробленное зрение — это только начало его новой, такой непонятной, такой трудной жизни.

Если бы только зрение... Но и свое собственное тело стало ощущаться как-то по-новому, и оно стало вести себя совсем не так, как было раньше.

«Частенько я впадаю в какое-то оцепенение и не понимаю происходящего вокруг меня движения, не понимаю предметов, стою и раздумываю о чем-то минуту, другую в каком-то беспамятстве... А потом вдруг прихожу в себя, оглядываюсь направо и вдруг с ужасом замечаю отсутствие половины своего тела. И я с испуганным видом раздумываю, а куда же делась моя правая рука и нога, и вообще вся правая половина тела. Я шевелю рукой и пальцами левой руки, ощупываю ее, чувствую ее, а правую руку с пальцами я не вижу и даже почему-то не ощущаю их, а в моей душе какая-то тревога...

Я пытаюсь что-то вспомнить, но ничего не могу вспомнить... вдруг я опять «потерял» правую полови-ну тела, так как без конца забывал, что я ослеп справа и никак не мог привыкнуть к этому положению и часто пугался исчезновением своего тела».

Но и это не все. Он не только теряет правую половину своего тела (ранение теменной области левого полушария неизбежно приводит к этому). Иногда ему начинает казаться, что части его тела изменились, что его голова стала необычно большая, а туловище — совсем маленьким, что ноги находятся где-то не на своем месте, что распался не только зрительно воспринимаемый мир, что на какие-то причудливые куски распалось и его тело.

34

«Иногда я сижу и вдруг чувствую, что голова моя в стол величиною, не меньше, как будто бы... вот во что она превратилась. А руки, ноги и туловище стали малюсенькими... Чудно самому и смешно, когда я вдруг вспомню об этом!

Такое явление я называю коротко — смущением тела.

...А когда закроешь глаза, я даже не знаю, где находится моя правая нога, и мне даже почему-то всегда казалось (и ощущалось), что она находится где-то выше плечей и даже выше головы...

И еще бывают со мною (хотя тут владею собой) неприятности вот какие (хотя они и небольшие). Вот сижу я на стуле и вдруг... я становлюсь высоким, туловище же — коротким, а голова же вдруг малюсенькая, точно... цыплячья, не вообразишь нарочно!».

И часто он не может найти частей своего собственного тела. Оно распалось на куски, он не сразу соображает, где его рука, где нога, где затылок, и он должен долго и мучительно искать их. Как это непохоже на то, что было до ранения, когда каждая часть тела занимала свое прочное место и когда ни о каких «поисках» их не могло быть и речи.

«Я часто забываю, где в моем теле находится хотя бы «предплечье» или «ягодица». Я часто забываю и вновь запоминаю названия этих двух слов. Я знаю, что такое плечо, и знаю еще, что близко связано с ним слово «предплечье», но вот я забыл опять место предплечья: то ли оно находится вблизи шеи, то ли вблизи руки? То же самое можно сказать при значении слова «ягодица». Я тоже забыл, где находится настоящее место ягодицы, то ли это место в мускулах ноги выше колен, то ли в мускулах в области таза? Подобного много в моем теле и к тому же еще и не вспомнишь слова из частей своего тела...

«А теперь покажи мне свою спину!» — просит профессор. Странное дело, но я так и не мог показать свою спину профессору. Я уже знал, что слово «спина» относится к моему телу, но вот где она находится эта часть тела, я почему-то не мог вспомнить или вовсе забыл про нее от ранения. Таких названий в своем теле, «забытых мною», было немало...

То же самое повторяется, когда он говорит мне: «Лева, покажи, где твой глаз?». И я опять долго думаю, что же означает слово «глаз», и наконец, вспоминаю значение слова «глаз». То же самое повторяет-

35

ся со словом «нос». Но он делает это со мной часто и уже требует: «Ну, покажи быстро, где твой нос? Где глаз? Где ухо?». Но от этого я только путал слова, вот эти три слова: нос, ухо, глаз, хотя без конца тренируюсь с ними. Я не мог почему-то быстро вспомнить то или иное слово, уже знакомое мне...

Он мне скажет: «Руки в боки!» — А я стою и думаю, а что означают эти слова. Или он мне скажет: «По швам руки!» — и я опять все думаю или шепчу втихомолку: «...по швам руки... по швам руки... по швам руки... что это такое?».

Иногда это приводит к совсем странным явлениям: он не только потерял обычные ощущения своего тела, он забыл, как пользоваться ими.

Вот совсем раннее воспоминание об этом: оно относится к первым неделям после его ранения, ко времени пребывания его в госпитале, где-то под Москвой.

Оно несколько необычно.

«Ночью я неожиданно проснулся и почувствовал какое-то давление в животе. Да, в животе что-то ме-шалось, но только мочиться мне не хотелось, но чего-то мне хотелось сделать, но что? Я никак не мог по-нять, а давление в животе все усиливалось. И я вдруг решил сходить на «двор», но только долго догады-вался, как же это нужно сделать. Я уже знал, что у меня есть отверстие для удаления из организма мочи, но требовалось чего-то другое, другое отверстие давило мне живот, а я забыл для чего оно нужно».

Что-то совсем странное проявлялось не только в этом. Очень скоро он обнаружил, что ему нужно снова учиться тому, что раньше было так обычно, так просто: поманить рукой, помахать рукой на

прощанье... Как это сделать?

«Я лежу на постели, мне нужна няня. Как позвать ее?.. Я вдруг вспомнил, что человека можно манить, и я пробую поманить няню к себе, то есть тихонько шевелю левой рукой то влево, то вправо. Но няня прошла мимо меня и не обратила никакого внимания на мою «мимику-жестикуляцию». И я понял тогда, что я совсем забыл, как надо манить человека...

Оказывается, я просто забыл, как нужно делать жесты руками, как управлять мимикой, чтобы человек понял меня и догадался подойти ко мне».

36

Пространство

К «странностям тела» он скоро привык и они стали беспокоить его только иногда, когда позднее начали появляться припадки.

Но появились другие странности, он назвал их «странностями пространства», и от них он уже не смог избавиться никогда.

К нему подходит врач и протягивает руку — он не знает, какую руку ему подать; он хочет сесть на стул и промахивается: стул стоит гораздо левее, чем это ему кажется; он начинает есть — вилка его не слушается и попадает мимо куска мяса; а ложка — с ложкой происходит что-то непонятное: она не хочет вести себя правильно, располагается ребром, и суп выливается из нее...

Это началось еще давно, в госпитале, продолжается и дальше, и длится долгие, долгие годы...

«Узнав мое имя, врач сказал: «Ну, здравствуй, Лева!» — и подает мне руку. А я никак не попаду своей рукой в его пальцы. Тогда он снова говорит мне: «Ну, здравствуй же, Лева!» — и он снова подает мне свою руку. А я, как нарочно, позабыл про правую руку, которую я в это время не видел, и подаю ему левую руку...

Я спохватился и начинаю подавать ему свою правую руку, но почему-то никак не могу правильно подать ему руку, и рука попадает ему только на один палец. Тогда он снова отрывает мою руку и снова го-ворит: «Ну, здравствуй еще раз!» — и он мне снова подает свою руку, и я снова неправильно с ним по-здоровался. Тогда он берет мою руку и показывает мне, как нужно правильно здороваться...

После ранения я иногда сразу не сажусь на стул или на табуретку, или на диван. Я сначала посмотрю на него, а потом, когда начинаю усаживаться, вдруг еще раз хватаюсь за стул с некоторым испугом, боюсь, что я сажусь на пол.

...Иногда бывает и так, что я начинаю садиться и падаю на пол, потому что, оказывается, стул далеко не около меня».

Особенно мучительно эти «странности пространства» проявляются за столом.

Вот он садится за стол, хочет писать — карандаш не слушается его: он не знает, как его держать; он садится обе-

37

дать, но как взять нож, вилку, как держать ложку?.. Нет, он действительно забыл самые простые навыки...

«Вот я держу в руках карандаш — и не знаю, что с ним делать, как с ним обращаться... Я разучился пользоваться, владеть им.

...Я пытаюсь ложкой поесть «первое», но рука, ложка, рот не слушаются меня, промахиваются. Я медленно шевелю рукой, ложкой, тарелкой, обливаюсь, пачкаюсь.., руку с ложкой подставляю к щеке, к носу, а в рот никак не попаду точно...

Я стал замечать также, что ложка как-то уродливо держится в моей руке: я никак не мог правильно есть ей, я ее вертел туда и сюда, стараясь узнать, как же правильно нужно держать ложку. Но я так и не мог узнать, отчего так ложка не слушается меня, когда я собираюсь есть пищу или уже ем ее...

Этот труд — есть пищу, двигать ложкой по тарелке и потом подносить ко рту, видя только кусочек пространства тарелки или ложки, которые не слушаются меня, — был просто мученическим для меня...

И странным было это дело для меня самого, что до сих пор не смог привыкнуть к своей ложке, вилке, тарелке. Я не мог удерживать равновесия подчас до сорока пяти градусов. А когда я закрою глаза, то я вообще не могу угадать, в каком состоянии находится тарелка, ложка, тут уже не зрение виновато, а что-то другое, что случилось после ранения».

И то же самое происходило с ним в мастерских госпиталя, куда он ходил на «трудовую терапию», где он хотел снова включиться в какой-нибудь труд, убедиться, что он может что-то делать, быть полезным, что он на что-то годен... И там снова те же трудности, те же мучения.

«Мастер подает мне в руки иголку, катушку с нитками, кусочек материи с узором и просит меня, чтобы я сам попробовал вышить такой же узор и тут же ушел к другим больным, у которых после ранения то нет ноги, то руки, то паралич половинной доли тела. А я... я держу в руках катушку, иголку и тряпицу с рисунком, и не могу понять, для чего мне их дали в руки. Я долго сидел без движения. Вдруг ко мне подошел мастер и говорит: «Что же вы сидите без движения? Возьмите нитку и вставьте ее в иголку!». Я взял в пальцы нитку одной рукой, а в другой держу иголку, но никак не могут понять, что же с ними делать и как соединить иголку с ниткой. Верчу игол-

кой и так и эдак, и ничего не пойму, как же с ними обращаться...

...Когда я еще не брал эти предметы в руки, а только глядел на них, то они мне казались знакомыми вещами, и о них незачем и думать. Но когда я теперь стал держать их в своих руках, то я почему-то не мог понять, для чего же эти вещи нужны. Я впал в какое-то отупение и никак не мог сообразить, как же связать эти принесенные вещи с моим соображением, словно я забыл, для чего эти вещи существуют. Я верчу в руках нитку и иголку, но никак не могу догадаться, как же нужно связать нитку с иголкой, т. е. не могу догадаться воткнуть нитку в ушко иголки.

Но вот неприятная история еще и в другом деле. Я уже теперь знал, что такое иголка, что такое нитка, что такое наперсток, что такое лоскут, и понимал немного, как с ними обращаться, а вот вспомнить их названия и названия указанных предметов (нитка, иголка, катушка, лоскут, наперсток) ну прямо-таки никак не могу, хоть убейся! Я вот сижу и втыкаю иголку в лоскут, но не могу вспомнить названий вещей, чем работаю...

На первый взгляд, когда я смотрю на предметы: на стол, на доски, на рубанок, на работающих в ма-стерской людей, мне кажется, что все нормально у меня, что я знаю все эти предметы и их названия. Но когда мне дали в руки рубанок и доску, я долго копошился с ними, пока мне еще раз не показали уже больные, как нужно строгать рубанком и другими инструментами. Я начал строгать, но правильно строгать я так и не научился, вернее, не могу почему-то. Я начинаю строгать — у меня получается криво, косо, с ямами, с буграми, да вдобавок я быстро устаю... Ну, а так, когда я строгаю или просто гляжу на инстру-менты столярные, на брусок дерева, на стол, то я опять как и в тех мастерских, не в состоянии почему-то вспомнить ту или иную вещь, тот или иной инструмент...

Сапожник тщательно обучал меня и, убедившись, что я очень бестолков, недогадлив и не имею каких-либо понятий в сапожном деле, как держать молоток и как им забивать гвозди, как их вытаскивать и чем; я только и обучался, что заколачивать деревянные гвозди в доску и обратно их вытаскивать. И это для меня было делом трудным, потому что глаза мешали правильно смотреть в то место, куда нужно забить гвозди, и я без конца промахивался, протыкая свои

39

пальцы шилом до крови, и все равно работу эту выполнял очень и очень медленно. И мне не давали ни-какой работы, кроме забивания гвоздей в доску».

Значит и здесь он непригоден? Значит это не только то, что он нередко называл «странностями ложки». Он не может работать.

И это осталось у него на все дальнейшие годы; это продолжалось, когда он вернулся домой и когда он должен был выполнять там самые простые работы.

Вот мать говорит ему: «Лева, наколи дров», «Лева, почини забор», «Лева, принеси молока из погреба», — а он не знает, как это сделать, и каждая задача ставит его в тупик, вызывает новые мучения.

«Вот я положил пенек, беру топор, нацеливаюсь, размахиваюсь топором и... попадаю топором в землю! После ранения у меня всегда так получается: или попадаю топором в землю или так зацеплю топором по кусочку чурбака, что чурбак подпрыгнет или покатится, а то ударит по руке или по ноге, оставив синяк или ушиб на теле. Когда я замахиваюсь топором, то я очень редко попадаю в центр чурбака, а большей частью отклоняюсь от центра в размахе в левую или в правую сторону, словно какая-то неведо-мая сила отклоняет куда-то мой размах. От этого плохо колются дрова...

...Вот сестры меня просят прибить дверь в сарае, которая еле держится на одном гвоздике, и я хочу прибить дверь к сараю, но долго вожусь в сарае, желая понять, где чего и откуда взять ту или иную вещь, чтобы прибить дверь. Я не могу догадаться, откуда взять молоток, гвоздь, хотя в сарае есть и гвозди, и молоток... Но я после ранения почему-то боюсь дотрагиваться до предметов, до вещей, до всего того, что меня окружает. То же самое я ощущаю не только в сарае, но и в комнате. Я не знаю, не понимаю где на-ходятся те или иные предметы и вещи. Я не могу почему-то разбираться в вещах, в предметах, не понимаю или не могу разобраться в них. Но вот, родные, видя, что я не могу ничего найти ни в сарае, ни в комнате, приносят мне сами гвозди, молоток. Я беру гвоздь, молоток и начинаю долго раздумывать, как же нужно дверь починить. В конце концов, после долгих размышлений, я начинаю бить молотком по гвоздю. Молоток бьет не прямо, а как-то полубоком, криво, и гвоздь тоже идет не прямо, а криво. Я отшибаю

40

то и дело пальцы, а гвоздь уже кривится, загибается. Я начинаю раздумывать, а как же исправить гвоздь, и не могу найти способа, чтобы выпрямить гвоздь и его исправить. А тут мать опять начинает ругаться... Она отбирает из моих рук молоток... и сама прибивает дверь.

...Вот я начинаю пробовать чинить стеклышко в окне: набираю стекол, беру молоток, гвозди. Стекла плохо подходят к окну, а тут гвозди очень большие — не лезут в дерево — трещит стекло, да и молотком я не так бил, забыл как нужно правильно бить им. Я долго думаю, размышляю, переставляю стекла и так и сяк... И тут опять подходит мать, отбирает у меня из рук все, делает за меня все сама и не велит мне больше соваться к стеклам.

Вот я иду за водой с ведрами, наливаю воду, несу и вдруг на ровном месте — бах, упал вместе с вед-рами, да прямо навзничь. Хорошо, что головой не задел ни обо что, я ударился спиной, и ведро одно сразу прохудилось.

Но все же частенько я вдруг ударяюсь ведрами о какую-нибудь изгородь или о стенку правым краем, или просто споткнусь от неровности местности. Все же, когда я только что начинаю нести ведра с водой, то я бодрствую, затем начинаю утомляться, начинаю нервничать все более и более. Ноги, руки дрожат, гудят, я делаюсь раздражительным, злым, хотя воду я пронес всего каких-нибудь сто метров, не более, так как я живу от колонки с водой по соседству».

И все это не только в работе: те мучения распавшегося пространства, раздробленного тела — в быту, в гимнастике, в игре... Он испытывает их всюду, каждый час, каждую минуту, и какой мучительной становится самая простая обычная жизнь.

«Я выхожу на середину комнаты и пробую делать какую-нибудь зарядочку. До ранения я помнил четыре вида вольных упражнений, которые я заучил еще в детстве — в пионерском лагере — под музыку. Но теперь я не могу их почему-то вспомнить, забыл совсем все четыре приема. И я просто начал делать сам разные движения: поднимать, опускать руки, садиться, вставать. Но мне было почему-то неприятно делать зарядку, так как я быстро устаю да и какая-то апатия ко всему накладывается на организм...

...Я пробовал играть в городки, но никак не мог попадать, куда нужно, разучился играть во что бы то

ни было, при этом мешали глаза, мешала и сообразительность. Вот я бросаю палку, но она летит далеко не туда или куда-нибудь, только не в цель. То же самое получалось и с другими играми, когда я их уже вновь начал осознавать и воспринимать зрительно».

Весь мир стал раздроблен на части, все вещи стали непонятными, вся жизнь - сплошным пароксизмом поисков и мучений.

«Вот мне хочется надеть чистую рубашку, но я не знаю, где ее найти. Я пробую даже перерыть всю комнату, но не могу найти нужной мне рубашки. И я даже не пробую рыться в комнате, так как я все равно ничего не найду, что мне нужно. Я даже боюсь подходить к комоду или к другим вещам и предметам, находящимся в комнате. Я даже не знаю, что лежит в посудном столе, что лежит в комоде, что лежит под кроватью.

Все вещи и предметы стали для меня непонятными, особенно когда я их не вижу, я их не могу найти, словно я их не знаю. Когда мать ставит передо мной пищу, то я не знаю, как она называется, хотя уже знаю вообще, что это за пища».

Что же лежит в основе всех этих мучительных трудностей? Почему он промахивается, когда рубит дрова, почему он неправильно держит ложку, почему он не может сразу найти нужные вещи в комнате и принужден беспомощно блуждать по ней, мысленно нащупывая каждую вещь так, как человек с завязанными глазами на ощупь ориентируется в окружающем пространстве?

Что лежит в основе тех «странностей пространства», о которых он сам так часто говорит?

Он видит какую-нибудь вещь — в этом нет никаких затруднений. Он узнает ее, знает, для чего она, что с ней нужно делать. Это просто.

Но вот когда ему приходится ориентироваться в пространстве, различать правое от левого, схватывать взаимное расположение вещей — вот тогда все меняется, и здесь он становится беспомощным, здесь возникают неразрешимые задачи.

Мы подошли к центральному дефекту, и сам он знает об этом и постоянно возвращается к этому.

«Странности пространства» появились рано — он впервые начал осознавать их еще в госпитале.

Он выходит из палаты и не может найти пути назад. Коридор длинный. Куда

42

идти - направо или налево? И что такое это «правое» и «левое»? Это было так просто; сейчас, после ранения, это полностью разрушено. Над этим приходится думать, это приходится решать, как сложную алгебраическую задачу, для копой надо подбирать, какие-то опорные средства, а они еще неясны - где они?

И он возвращается к этому на многих страницах своего дневника.

«Но, когда я вышел из уборной, я забыл куда мне нужно теперь идти, где моя комната. Но я все же пошел куда-то, подхрамывая, как вдруг ударился правой стороной о дверь, чего со мной никогда в жизни не случалось. Я даже разозлился почему-то, но все же удивился, почему же я ударился. Но все дело в том, что я забыл, куда мне сейчас идти, где моя комната и койка. Где же я нахожусь теперь и где теперь находится моя палата? Я оглядываюсь кругом, смотрю во все стороны, но ничего не могу понять, где что находится, куда мне теперь идти?..

Я повернулся в другую сторону и упал, забыв опять, по какому направлению мне идти теперь, хотя бы обратно в свою палату. А тут мне еще вспомнились вдруг слова «вправо», «влево», «назад», «вперед», «вверх», «вниз», и я никак не мог разобраться в этих словах, не мог почему-то понимать их на практике. Заодно мне вспомнились слова «юг», «север», «восток», «запад», и я еще хуже не мог понять, как два слова друг с другом, связаны, т. е. я не мог понять «юг и запад» по расположению своему рядом связаны или напротив и даже забыл, как и с какой стороны находится юг или запад, и т. д. Ну тут меня вдруг окликнули по имени, но я все же сначала пропустил мимо ушей этот оклик. При повторении же я начал оглядываться во все четыре стороны: кто же меня окликнул?.. И когда я оглядывался на все четыре стороны, то я увидел, что ко мне идет больной и машет мне рукой...

Я вышел погулять — и опять то же самое. Я забыл где же наше здание... куда мне идти сейчас? Я смотрю на солнце, но не вспомню, куда же теперь должно двигаться солнце — влево или вправо? Я давно уже забыл, куда я шел и как я шел, хотя и недалеко прошел от здания. Но наше здание окружено хвойным лесом, чуть подальше — озеро, потом другое озеро, а там всюду лес, лес. Что мне делать, как мне быть?».

43

И то же самое происходит в кабинете глазного врача.

«...Вот врач начал меня спрашивать, показывая указкой на фигуру незамкнутого кольца: «Куда смотрит это незамкнутое колечко?». А я смотрел на нее и не понимал ее вопроса, и по-прежнему молчал. Врач с неудовольствием смотрела на меня. «Ну что же вы молчите? Куда смотрит это разомкнутое кольцо — влево или вправо?». Теперь я смотрел на незамкнутое кольцо, наконец, понял вопрос, но не в силах был решить задачу, что значит слово «влево» или «вправо». После ранения я, видно, перестал понимать, что значит «влево» или «вправо», «вперед» или «назад» и т. д...

...Я вижу кружочек, который был заметен и был очень крупным, и его нельзя было не заметить, в од-ной стороне этот кружочек словно был недорисован. Я не понимаю вопроса, а она, нетерпеливая, снова повторяет его. Я снова долго смотрю на неполный кружочек и не могу ответить на вопрос, так как я не знаю, что значит левая или правая стороны. И я опять вынужден был сказать: «Я не знаю...». Врач начала повышать на меня голос и сказала: «Не притворяйся, что не знаешь», — и она снова показала указкой, но уже на более крупный значок. Она снова начала: «Куда смотрит кружочек, влево или вправо?». Но я снова не знаю, что ей ответить, где же в кружке лево или право. Странно, что я таких пустяков почему-то не могу понять».

И все это вовсе не ограничено его зрением. Те же трудности он начал испытывать, сталкиваясь с

миром звуков. Вот его окликнули. А откуда? Откуда доносится звук? Он не знает: его звуковое пространство так же распалось, как пространство зрительное. Нет, это что-то гораздо более глубокое и более общее, чем какой-то дефект зрения.

«Во время прогулок еще хуже теряю ориентацию местности, а где же я нахожусь? И часто блуждаю у «себя под носом» даже в своем небольшой поселке. Ориентация в звуках — откуда они происходят — исчезла после ранения и я сразу не улавливаю этого и до сих пор. Я часто вынужден оглядываться во все четыре стороны, пока не узнаешь или не увидишь, кто произнес звук...

Я заметил еще одну неприятность в своей голове — я перестал ориентироваться в звуках, т. е. в на-

44

правлении звуков, а проще сказать, я перестал ориентироваться в пространстве звуков.

Я не знаю, почему это так случилось после ранения, но оно случилось, и откуда звук раздается, с какой стороны — я не могу понять, если только не догадаюсь по губам, по лицам, по обстановке...».

Вот он выходит из госпиталя. Кругом — улицы, сады... Уже довольно, пора обратно. Но как найти путь? И снова — мучения.

«Возвращаюсь обратно... Но свой дом никак не найду... Возвращаюсь сто раз обратно... — запутался совсем, не пойму, куда мне идти, и где дом мой: очертания его забыл, даже улицы все позабыл, по каким мне идти домой... Санатория номер забыл, и документов нет на руках... Так я ходил до вечера... Вдруг я вспомнил о «книжечке»... ах... ведь она же в кармане моем! Показал ее... меня кто-то до дому довел. Взглянул я на здание — вроде... вроде оно... а вроде нет... Палату ж свою узнал вроде — ошибок здесь, вроде, уж нет, — и лица знакомых узнал враз — все обошлось благополучно, лишь врач запретил совсем выходить из дома... А мне так хотелось в лесочек, по ягоды там, по грибы куда-нибудь эдак сходить, погу-лять где-нибудь в садочке».

Как трудно стало ему ориентироваться в окружающем, какие неразрешимые задачи возникают перед ним на каж-дом шагу?

Эти задачи возникали перед ним уже в госпитале, насколько их число увеличилось, когда после госпиталя его отпустили домой!

Перевернем еще несколько страниц его дневника. Вот он прощается с госпиталем. Он едет домой. Медицинская сестра довезла его до вокзала. Ему надо ехать в Тулу. Но как сделать это? Куда обратиться?!

«Как только ушла сопровождавшая меня до вокзала медсестра, я начинаю беспокойно оглядываться и озираться, где же узнать, откуда станция, где посадка, в какую сторону мне ехать придется. Я сижу на Курском вокзале в комнате для раненых. Сопровождающего до дома мне не дали, да я и не знал, должны ли мне давать, раз я могу ходить и кое-как говорить, а потом я даже надеялся доехать до дома легко, ведь ездил же раньше до ранения по железной дороге. Но когда я увидел, что пассажиры то уезжа-

45

ют, то приезжают, а я все сижу, я вдруг вскочил и стал беспокойно ходить с небольшим чемоданчиком, растерянно думая, куда же мне идти, как же быть, как же попасть на поезд. Я совсем растерялся, стал совсем бестолковым. Странное беспокойство охватило меня за свое личное состояние и существование. Я не могу понять окружающую обстановку и все, все, что меня окружает в этот момент. Я стал каким-то непонятным, какой-то страх беспомощности

охватил меня. Наконец, я догадался подойти к женщине с красной повязкой на руке и нашивками железнодорожника. Я начинаю говорить ей, что мне нужно ехать на Тулу, но я сильно заикаюсь, не могу вспомнить нужных слов для ведения разговора, в отчаянии кусаю губы. Она сразу замечает бессвязность речи на моем языке и спрашивает: «Ты ранен?». — «Да... в это... в голову», — доканчиваю я. Она больше ничего не стала спрашивать меня, поняла меня... Она подвела меня к другой женщине и приказала меня посадить в поезд на Тулу, когда тот придет».

Но вот он в поезде; поезд подъезжает к его родному городу, где он учился, где каждая улица была ему так хорошо знакома...

Но опять что-то не так; опять он попал в странный, чужой мир...

«В Туле я слез с поезда, так как мне нужно перейти с одного вокзала на другой, т. е. с одного конца города на другой.

Трамваев не было почему-то в это время, и я решил пойти пешком, это было не так далеко — кило-метра два или три не больше. Но странное дело, я почему-то не узнавал Тулы, не узнавал ее улиц и проез-дов, а главное — не помнил ни улиц, ни проездов, ни трамвайных остановок, ни их направлений. А ведь совсем недавно, перед самой войной, я три года учился в механическом институте, а тут вдруг — не знаю Тулы, не знаю ее улиц, не помню, а как же мне добраться до другого вокзала. Смешно самому, но очень больно на душе...

Неужели я забыл уже и Тулу от ранения... странно, но это так и есть, черт возьми! Я захотел вспомнить какие-нибудь улицы Тулы, по которым я часто ходил, но я ни одной не припомнил, почему-то я забыл Тулу. Я иду и без конца спрашиваю, а где же Рижский вокзал найти, и мне кто-нибудь показывал дорогу или улицу, куда идти. Мне очень стран-

ньш казалось, что я забыл Тулу, которая-то и не такая уж большая.

Я уже забыл названия станций, куда мне нужно ехать. Хорошо, что сестра в письме уже заранее на-писала адрес пути следования до самой местности нашей. Я прождал в Туле целые сутки на вокзале. Потом я услышал, что поезд пойдет через узловую станцию, и мне посоветовали ехать на этом поезде. А когда я поехал, то оказалось, что я не доеду до своего места жительства, что нужно еще сделать две пересадки. Так меня учили люди, и я их без конца спрашивал, чтобы не проехать куда-нибудь дальше».

Он сходит с поезда. Теперь дом уже близко... Но путь, тот путь, который он проделывал тысячи раз, теперь для него чужой. Он не узнает его, он не знает, куда ему идти.

«Я пробую вспомнить даже, а где же находится юг, север, восток, запад по солнцу, но я не могу по-чему-то определить теперь и даже затрудняюсь в такой момент понять, куда движется солнце — влево или вправо, и я даже путаю запад с востоком, не могу вспомнить, как понимается восток и запад. Но по-падаются прохожие, я спрашиваю: «На Казановку куда идти?». Прохожий ухмыльнется и промолчит, потому что Казановка прямо перед носом, даже видна, кажется, из-за кустов, а другой скажет: «Оглянись, вот она!». И действительно, я оглядываюсь и вижу дома Казановки. Вот странное дело, я не могу ориентироваться на местности, не могу ориентироваться в пространстве...».

Но вот, наконец, он дома, в своей родной Казановке — теперь она называется Кимовск. Поселок совсем маленький, и все здесь родное, здесь он родился, здесь он вырос.

И опять эти «странности пространства»: все стало чужим, незнакомым. Как же разобраться во всем, как же ори-ентироваться в этом — раньше своем, а теперь потерянном, городке?

«В первые дни и месяцы я никак не мог привыкнуть к своему поселку, не узнавал своего дома,

когда подальше отходил от домов, все они мне казались одинаковыми, и я даже пугался, что не найду своего дома».

Шло время, проходили годы, а «странности пространства" оставались, и он по-прежнему не мог ориентироваться в своем родном поселке.

47

«Да, вот я почти два года, как живу в городе, но почему-то не могу запомнить улицы, проезды даже ближайших мест, по которым я вынужден ходить для прогулок. Хоть город небольшой, можно пройти город с того конца города на другой за один час, не больше, но построен этот город как-то нескладно, непонятно, неархитектурно. Поэтому я далеко не отходил от двух-трех улиц и всегда хожу по улицам вокруг и около — вблизи Парковой улицы. К тому же я быстро устаю, быстро все забываю, а потом еще я побаиваюсь резких вспышек приступов, а особенно припадков, после которых я всегда тяжело болею и лежу в постели. И я далеко не отхожу от дома, от далеких улиц, проездов. Я до сих пор не могу запомнить ближайших улиц, проездов, по которым я хожу ежедневно для небольших прогулок. Ну, а другие улицы, переулки, проезды, которых в Кимовске тоже порядочно, я и не думаю запоминать или вспоминать, раз это дело не держится в моей памяти после ранения».

А через несколько лет — новые трудности. Семья перебралась в новое место. Двухэтажный дом, поодаль — лес, так хорошо, удобно.

Но как ориентироваться в новом месте? И снова — мучительные трудности.

«Я смотрю на солнце, на небо, на вершины деревьев, вижу своими глазами, как они колеблются, плывут, как на волнах, и я еще хуже теряюсь и не могу определить, куда мне идти, и часто ошибаюсь, иду еще дальше от поселка, пока не замечу конец лесочка и не пойму, что надо идти в обратную сторону.

Как только я переехал жить на новое место, то первые дни и недели я не мог привыкнуть и угадывать, где я теперь живу. И в первые дни и недели я не отходил от дома. А как только отойду от дома, хотя бы к зданию клуба шахтеров, который находится от нашего дома всего через три дома, стоит только перейти еще одну улицу, Октябрьскую, и передо мной стоит клуб. А возвращаться обратно к дому, где теперь живу, — я уже не могу, начинаю теряться, быстро забываю, где я нахожусь, где я живу, где моя квартира, и часто не могу вспомнить название своей улицы. Такая уж стала голова после ранения. Приходится без конца держать в кармане записную книжку, где я уже записал и свою улицу, где я теперь живу, и адрес своего дома и квартиры».

48

Раненый мозг раздробил мир, разбил его на куски, которые уже сейчас никак не собрать...

Ну, как после этого делать работу, которая раньше была такой простой, такой понятной... Как ориентироваться в географической карте, которой он, как командир, с такой легкостью пользовался?.. Как ориентироваться в простом чертеже ему, студенту механического института, для которого чтение чертежа всегда было самым простым, повседневным делом?

Теперь он в этом совершенно беспомощен, и каждая простейшая задача ставит его в тупик. Что делать?!

«Недавно в нашей семье купили керосинку (печку-керосинку с духовкой). К этой керосинке приложена книжонка с наставлениями, как надо обращаться с печкой-керосинкой, показаны, нарисованы отдельные части керосинки. И я несколько недель пробовал разобраться в этой керосинке и многие части недопонимал почему-то, к чему отнести ту или другую часть. И долго не мог догадаться, как надо вставлять снова фитиль, чтобы заработала гребенка. И я даже посчитал, что эта керосинка не работает, что она бракованная. Да, когда я пробую разбираться в

чем-нибудь, то я начинаю подолгу думать, а от дум меня начинает тревожить что-то неясное, непонятное, собирается в голове какая-то тревога, беспокойство, которое может перерасти в приступ, в припадок, отчего я ухожу теперь от книг, от лишних дум и мыслей".

И вот итог: осколок прошел в мозг и раздробил его мир. Он разрушил пространство, нарушил связь вещей.

Он живет сейчас в распавшемся на тысячи частей, раздробленном мире, он «не понимает пространства», он боится его, он потерял «определенность мира»...

«После ранения я не представляю сущности пространства, я не понимаю пространства, боюсь его... И даже когда я сижу сейчас возле стола и вижу окружающие предметы, то я и почему-то боюсь дотрагиваться до них...».

49

Чтение

Он потерял «определенность мира», его мир был раздроблен. Но и это еще не все.

49

Давно, в первые месяцы после ранения, он сделал ошеломляющее открытие: он потерял свои старые знания, он, студент четвертого курса механического института, стал неграмотным!!

Это внезапное открытие было сделано давно — он только-только стал подниматься с постели и выходить. Какую же злую шутку сыграла с ним судьба?!

«Я вышел из комнаты в коридор посмотреть и найти самому уборную, о которой говорили мне, что она находится тут же, рядом. Я подошел к ближней двери и стал смотреть на вывеску. Но сколько я ни смотрел на вывеску и на буквы, я никак не мог что-либо прочесть. Какие-то странные буквы, иностранные буквы... и, главное, нерусские буквы были передо мной! Когда я спросил у проходившего мимо больного, показывая на вывеску: «Это что?», — то он ответил мне: «Это мужской туалет. А ты что, или читать не умеешь?» — и прошел мимо. А я словно прирос к вывеске и никак не могу понять, почему же тогда я не прочту вывеску, вижу ее, я же не слепой. Но отчего же буквы иностранные? Не подшутил ли надо мной больной?..

Я пытаюсь разобраться снова — и... тоже самое!.. Я подошел к одной двери и посмотрел на вывеску. На вывеске что-то написано, но опять не по-русски. Я смотрю на вывеску и мне кажется, что это не иначе, как уборная. Но я уже подхожу к другой комнате и опять смотрю на вывеску. И она мне опять кажется такой же непонятной, иностранной. Я долго рассматривал эти две вывески, очевидно, предназначенные для двух уборных — женской и мужской, как мне говорили. Но как же понять, которая из уборных мужская, а которая женская».

Вот он идет к глазному врачу. Он должен проверить остроту зрения, и вдруг — снова то же самое, снова это удивительное открытие: он не знает букв, он стал неграмотным!

«Глазной врач посадил меня на стул, включил электрическую лампочку и просил меня смотреть на табличку, на которой были нарисованы буквы разных размеров. Врач взял указку и показывает на букву, сначала на среднюю. А я вижу какую-то букву, но не знаю совсем, что это за буква и молчу. Я снова молчу, потому что не знаю и этой буквы. Врач-женщина, начинает нервничать: «Что же вы молчите?». Наконец я вспомнил что-то и говорю: «Не знаю!» Врач в гне-

50

ве, но удивлена, как мне показалось: «Неужели вы до сих пор неграмотны?».

...Любая буква для меня кажется незнакомой, иностранной, когда я просто смотрю на нее, на ту, на другую... Но когда я начинал напрягать память свою на данную букву и начну пересчитывать вслух алфавит, я обязательно уже вспомню букву, как она произносится».

Ему читают газету. Как хорошо ее слушать. Он снова включается в жизнь.

Он берет газету, хочет сам взглянуть на нее.

«Но что это такое? Мне буквы показались иностранными, и я подумал, что эта газета напечатана не по-русски. Я посмотрел на заголовок газеты. Он был большой, и мне показалось, что это знакомая газета, но почему она не по-русски написана? Может это газета написана на языке какой-нибудь одной из наших республик СССР... Но командир читает ее вслух и по-русски. Странно. Я останавливаю чтеца и спрашиваю его: «Это... как ее... газета наша... по-русски?». Товарищ засмеялся, но не очень громко, потому что он видит разбитую и забинтованную голову, и начал отвечать: «Ну, конечно, это наша газета «Правда», неужели ты не видишь, что она очень даже по-русски написана». Я еще раз посмотрел на заголовок, но прочесть не смог названия газеты, хотя я видел несколько крупных букв, и мне даже показалось, что эти буквы похожи на газету «Правда», но почему же я не прочту этого названия, даже если оно крупное?..

...И я думаю: «А все-таки, наверное, я все еще сплю, и все это мне снится во сне», — так решил я для своего успокоения, — неужели и вправду я не умею читать теперь, нет, не может этого быть.

Я вдруг привстал и взглянул на газету, увидел в газете портрет Ильича, сразу узнал его, обрадовался знакомому лицу! Но вот печатных букв газеты, даже самых крупных букв «Правда», я никак не мог узнать и прочесть. Странно что-то.

До меня тогда никак не могло дойти, что от ранения головы я могу очутиться неграмотным и глупым.

Неужто я не могу теперь считать, не могу прочесть даже своих русских слов, хотя бы слова «Ленин» и «Правда»? Странно как-то, смешно».

Он озадачен, растерян. Что же с ним?! Ведь этого не может быть. Ведь только недавно он был студентом, сдавал

51

экзамены, зачитывался книгами, он был командиром, он сам вел работу с бойцами. Что же это?!.

«И вдруг я опять, когда стал взрослым, забыл все буквы и не могу их запомнить заново. Я смотрел на новую учительницу и без конца глуповато улыбался. Я не верил сам себе, что я вдруг стал неграмотным, что я забыл все буквы. Ведь так не бывает. Ведь я же учился, ведь я много знал и вдруг ничего не знаю. Я начал верить, что это я вижу сон... страшный сон!

А как это тяжело лишиться возможности читать, когда каждый человек в результате чтения узнает многое, многое и начинает представлять себе окружающий нас мир в более простом и понятном свете, и видеть все то, чего никогда не мог видеть, ощущать, понимать. Научиться читать книги и читать их — это значит владеть чудом волшебным, и этого чуда лишен теперь я... И это страшное бедствие для моего созна-ния... да, я лишен чуда чтения, и это страшное горе».

Нет, так быть не должно! Ему надо снова учиться. Как странно: надо снова учиться, чтобы стать грамотным. И учение начинается.

52

За учебу!

Ему дан преподаватель, логопед, специально подготовленный, чтобы восстанавливать речь больных, таких, как он, больных, у которых ранение разрушило, их прежние знания. Он будет учиться!!

«Неужели это правда, что я снова учу букварь, который я когда-то в детстве учил? — быть не может!.. Это сон мне снится, я скоро проснусь ото сна! Только странно, почему так долго не просыпаюсь? Странным все это мне кажется. Неужто и вправду я так ранен, что стал снова неграмотным?

А на другой день я уже скромно сидел за столом рядом с учительницей. Перед нами лежал русский букварь, а учительница показывала на буквы, а я смотрел на буквы и глупо улыбался... Ну как же, я вижу ту или эту букву, но не знаю, что это за буквы. Я же учился, знал их, знал буквы не только русские, но и немецкие и английские, а тут вдруг я не знаю

52

ни одной русской буквы, не только что иностранные! Не может этого быть, это я вижу сон, не иначе! И я глупо улыбаюсь, и эта глупая полуулыбка не сходила с лица моего в течение многих и многих лет.

Но противоречивые мысли меня тревожили, а вдруг это не сон, а действительность, что тогда? Тогда надо мне быстрее научиться говорить, читать, писать и стать снова таким же, каким был до войны, каким был до этого последнего ранения».

И вот начинаются уроки. Они трудные, ведь ему приходится начинать все с самого начала. И какой это адский труд!

«О. П., показывая в букваре на букву М, спрашивает меня: «Лева, как называется эта буква?». Полу-улыбка почти сходит с моего лица, так как мне надо отвечать учителю. Я уже запомнил за три урока буквы М и А, а вот вспомнить букву М, сразу назвать ее, я почему-то не мог. Я пробую что-то вспомнить, но голова словно пустая, словно нет в ней ничего...».

Дело двигается очень медленно, каждый шаг требует все новых усилий. И ему приходилось находить все новые способы осмысливать буквы, запоминать их.

«Так, например, буква 3 связана с моей фамилией — Засецкий; буква Ж — «Женя», так зовут мою родную сестру; буква Ш — «Шура», так звали родного брата. Это я, конечно, делаю с одобрения учи-тельницы, так как она замечает, что от этого у нас с ней успехи пошли гораздо лучше. Но некоторые буквы никак мне не удается запомнить, так как не находится подходящих слов. Вот я придумаю слово, а оно через минуту забудется, хоть убейся. Особенно я долго не мог запомнить три буквы: С, К, М. Но позднее я вспомнил про слово «кровь», которое я частенько вспоминаю и не могу забыть его. Я обратил на это внимание, и вскоре буква К, связанная со словом «кровь», стала регулярно появляться в моей памяти. А вслед за словом «кровь» я таким же образом запомнил слово «сон», которое я часто вспоминаю, когда ложусь спать, а спать приходится ежедневно ложиться, и вот эту букву С, которую я до этого никак не мог запомнить, после этого слова «сон» стал регулярно вспоминать. А вслед за словом «сон» я начал вспоминать для буквы Т какое-нибудь подходящее

53

слово, и вдруг я вспомнил про слово «Тамара», т. е. имя моей родной сестры.

...Так я и двигался, опираясь на укрепительное слово, чтобы ее запомнить. Но я ее помню минуту, другую, а потом ее ни за что не вспомню!

Но все же количество запомнившихся букв увеличивалось от пройденных занятий — все больше и больше. Вот я уже запомнил букву Л, от слова Ленин, букву Ж — от слова

«Женя», букву Ш — от слова «Шура». Учительница сказала, чтобы я запомнил букву К, от слова «кошка», букву С от слова «стол» и букву Т от слова «том».

Скоро он сделал еще одно открытие, на этот раз давшее ему новое облегчение.

Оказывается, он мог вспоминать букву другим путем; для этого ему нужно было только перебрать буквы по порядку так, как он заучивал их в детстве, перечисляя алфавит, опираясь на какой-то устный, двигательный навык, не пытаясь сразу найти ее зрительное изображение! Этот путь оставался для него открытым, такое припоминание букв было полностью сохранным! Ведь осколок, разрушивший зрительно-пространственные отделы коры, пощадил речедвигательные системы.

И он пошел этим путем.

«Букв теперь стало много, я их запоминал с различными словами, а вот когда нужно вспомнить очер-тания буквы и зацепку к слову, то я долго вынужден был ожидать какого-то срока времени, чтобы, нако-нец, показать О. П. букву К.

Я вдруг, припомнив букву а, начинаю перебирать по алфавиту вслух: «а, б, в, г, д, е, ж, з, и, К...К!» — громко говорю я, показывая в алфавите букву К.

Через несколько месяцев я запомнил все буквы от А до Я, но зато сразу вспомнить ту или иную букву я не мог. Когда учительница скажет: «Покажи мне букву К», я сначала подумаю, подумаю, наконец, начинаю перебирать вслух алфавит по очереди: «а, б, в, г, д, е, ж, з, и... К!» — говорю я ей, и показываю в алфавите букву К. А очередность алфавита по слуху я почему-то хорошо знал и помнил без запинки!».

Скоро он стал читать.

Но он по-прежнему никогда не видел целое слово, он оставался принужденным складывать его по буквам, мучительно осознавая каждую, вспоминая ее значение и удержи-

вая ее в памяти, чтобы не забыть, когда он переходил к следующей.

«Когда я пробую читать книгу, то я могу видеть только до трех печатных букв, а самого начала чте-ния я вижу одну букву, причем я стараюсь смотреть центром зрения немного правее и выше самой буквы, чтобы увидеть саму букву.

Но и все же при чтении я вот таким образом вижу букву, но зато не могу сразу ее вспомнить, как она называется и произносится; в голове происходит какая-то задержка с памятью, какой-то тормоз памяти.

Основными причинами этого тяжелого чтения были три, и вот какие:

1. Я вижу букву, но долго не могу вспомнить или произнести ее.

2. Когда я таким образом прочитываю буквы, то часто, особенно в большом слове, я забываю в слове первые начальные буквы, и мне приходится читать это слово снова, так и не узнав еще само слово.

3. Я вижу буквы и левым, и правым глазом слева от центра зрения глаз, а в центре зрения обоих глаз я вижу все только до трех-четырех печатных букв газетного шрифта. Когда я начинаю читать с первой страницы, то сначала вижу одну букву, стараясь смотреть не прямо на эту букву (я тогда увижу только часть буквы), а немного правее и выше ее
только тогда и только так я увижу всю букву...

Печатный шрифт я читаю по буквам. В первое время мне приходилось читать и опираться на алфавит: а, б, в, г, д, е..., но позднее уже стал все реже и реже обращаться к алфавиту, а просто старался вспоминать букву без алфавита, ожидая ее некоторое время, когда буква вспомнится сама. И часто я даже забывал, пока прочту все буквы, само слово, и приходилось снова перечитывать буквы в слове, чтобы понять слово. И часто я читал и читаю текст без всякого смысла слова, лишь бы прочитать. А когда я хочу понять смысл слова, то тоже приходится выжидать, пока поймешь смысл слова, т. е. его значение. Но когда я прочту слово и пойму его значение, я иду дальше, прочитываю второе слово и пойму его смысл, прочту третье слово, пойму его значение, а про первое слово, иногда и второе слово и их значение я уже не помню, т. е. уже забыл и не в состоянии вспомнить, сколько бы я ни хотел и ни пытался...

55

Я прочитываю вторую букву, третью, четвертую — также я делаю и со значением слова — прочи-тываю слово, другое, пойму значение, прочту четвертое слово, опять пойму значение. Я останавливаюсь на четвертой букве, вижу и помню ее произношение, а вот первую, вторую, третью буквы я уже забыл, как произносятся они, хотя и вижу еще вторую и третью буквы, а первую букву вовсе не вижу».

Так он и стал читать, буква за буквой, слово за словом, боясь, что буква, которую он только что узнал, исчезнет, а слово, которое он только что прочел, будет забыто.

«Я взялся читать главу по указанной книге, собирая глазами букву за буквой, слог за слогом, слово за словом. Страшная медленность при чтении резко раздражает меня, а тут еще оба глаза мешают друг другу, особенно правый глаз, и глаза словно расходятся куда-то в сторону, унося букву, на которую я только что хотел посмотреть. Я снова спешу найти ту же букву или слово в тексте книги... время бежит.., а я уже забыл, на чем остановился, на каком слове, на какой букве.

А за последние эти месяцы труднее стало читать текст из газеты или книги, отчего у меня стали воз-никать задержки с чтением еще больше. Вот я читаю, читаю одну главу... и не смогу осилить — прочесть эту главу и до половины. Все слова, которые я прочитываю, быстро «улетают» из памяти. Мне было бы легче и проще на некоторое время помнить такие слова, как затмение солнца, затмение луны...».

И так шли годы. Он читал, судорожно пытаясь узнать буквы, сложить их, не забыть слова. И с годами это не ста-новилось легче.

А потом появились новые задержки, новые трудности.

«В последнее время (в эти годы) при чтении у меня стали появляться значительные остановки, то есть еще большая замедленность чтения, и вдобавок еще стали чаще возникать исчезновения буквы из поля зрения. В этот раз (второго мая 1967 г.) во время чтения я заметил вдруг, глядя на букву, которую я только что прочел сначала левым глазом, а потом правым глазом, что правым глазом я не могу прочесть букву, так как она была настолько мала (раза в два или в три меньше, чем буква, на которую я мог смотреть левым глазом, почти нормально видя

56

ее), что я не мог узнать, что это была за буква, а если ее и вижу, то она кажется слишком маленькой до неприятности».

Какой фантастический труд пришлось проделать ему, чтобы овладеть чтением. А как же с письмом?

57

Письмо.

День решающего открытия

Сначала с ним было так же трудно, как и с чтением. Быть может еще труднее.

Он разучился держать карандаш, он не знал, каким концом его брать, как им пользоваться. Он забыл, какие движения надо сделать, чтобы написать букву. Он стал совсем беспомощным.

«Я разучился владеть карандашом: верчу его туда и сюда и никак не могу начать писать. Мне по-казывают, как надо держать в руке карандаш, и просят меня, чтобы я написал что-либо. Тогда я взял ка-рандаш и провел им по бумаге какую-то кривую линию и ничего больше...

Я долго думаю, гляжу то на бумагу, то на карандаш, и, наконец, решительно двинул карандаш по бумаге, и на бумаге остался след от карандаша совершенно неопределенного происхождения, а впрочем, он напоминал, примерно, вот такую линию, т. е. обычное чирканье ребенка, который еще не знает азбуки. От этой прочеркнутой мною линии мне стало смешно и страшно; удивительно, ну как же, ведь я же умел прекрасно писать и быстро читать, и вдруг... и мне опять стало казаться, что это я вижу сон, не иначе... и я начинаю без конца улыбаться своей учительнице какой-то бессмысленной улыбкой».

А потом наступил день, который перевернул все. Это был день великого открытия, которое он сделал.

Все было очень просто.

Сначала он пытался писать, вспоминал образ каждой буквы, пытался найти каждое движение, нужное, чтобы его написать.

Но ведь так пишут только маленькие дети, которые только учатся письму. А ведь он писал всю жизнь, за спиной почти два десятка лет письма... Разве взрослый человек пишет

так же, как ребенок? Разве ему нужно задумываться над каждым образом буквы, искать каждого движения, нужного, чтобы ее написать?!

Мы давно уже пишем автоматически, у нас давно сложились серии привычных движений письма, целые «кинетические мелодии». Ну разве мы думаем над тем, какие движения мы должны сделать, чтобы расписаться? Разве мы пытаемся при этом вспомнить, как расположены линии, составляющие каждую букву?!

Почему же не обратиться к этому пути, к пути, который должен оставаться доступен ему? Ведь ранение, разрушившее зрительно-пространственные аппараты мозга, не затронуло его кинетических, двигательных аппаратов. Ведь слуховые отделы мозга и все двигательные навыки сохранились у него. Почему не использовать, их и не попытаться восстановить письмо на этой новой основе?

Он хорошо помнит этот день и много раз возвращается к нему на страницах своего дневника; ведь этот день дал такую простую находку, которая перевернула его жизнь!

«С письмом же дело вначале пошло точно так же, как и с чтением, т. е. я долго не мог вспомнить буквы, когда уже кажется знал их, проделывая ту же процедуру в порядке алфавитном. Но тут вдруг ко мне во время занятий подходит профессор, уже знакомый мне своей простотой обращения ко мне и к другим больным, и просит меня, чтобы я написал не по буквам, а сразу, не отрывая руки с карандашом от бумаги. И я несколько раз (переспросил, конечно, раза два) повторяю слово «кровь» и, наконец, беру карандаш и быстро пишу слово, и написал слово

«кровь», хотя сам не помнил, что написал, потому что прочесть свое написанное я не мог».

И он стал писать! Теперь ему не нужно было мучительно вспоминать зрительный образ буквы, мучительно искать то движение, которое нужно сделать, чтобы провести линию. Он просто писал, писал сразу, не думая. Он писал!!

«Оказывается, что можно написать автоматически только некоторые слова, только короткие слова, а длинные, как, например, слово «распорка» или слово «крокодил» и другие подобные я уже не могу автома-тически написать. Но все равно с тех пор, как профессор показал писать слова не по буквам, а быстро, автоматически, не задумываясь над буквами всего слова, я начал писать слова не по буквам, а пословно, автоматически, если слово не очень длинное, и по

58

слогам, если слово очень длинное, вроде слова «распорка», и еще более длинные. Но и это уже было для меня громадным достижением в развитии моей памяти, и этим я был обязан в первую очередь профессо-ру и моей учительнице О. П.

Итак, месяца через три, как я приехал в К., я уже умел писать вот таким образом; правда, прочи-тать свое написанное я еще никак не могу».

Так прошли годы, но сделанное открытие дало свои плоды: теперь он мог писать, пусть трудно, с ошибками, но он писал, хотя и не мог прочесть только что написанное!

«В результате длительного лечения я наконец научился писать и читать за полгода, причем писать я научился гораздо быстрее (и почти пишу, как и раньше, примерно), а читать я так и не мог научиться, как раньше. Я читаю по буквам, по складам, и дальше чтение не развивается более...

Я уже научился писать автоматически: вспомнишь слово и сразу же напишешь его — быстро и легко. Правда, часто правую букву слова, особенно первого слова, приходится долго вспоминать, а потом — по-шло писаться! Частенько я замечаю, когда пишу буквы в слове, что я глотаю или теряю буквы, а часто путаю буквы, и особенно те, которые сходно звучат (К-Х, З-С и т. д.), или же заменяю букву, которая уже произносилась в этом слове, как, например, пишу вместо «золото» — «зозото». Знаки препинания я забываю часто ставить, а правила этих знаков препинания я забыл. Точку я обычно ставлю, чтобы от-делить фразу одну от другой, причем фразы я ставил очень короткие, состоящие всего из нескольких слов, соединенных союзом НО, И. И хотя я сам пишу слова, я сам же затрудняюсь их прочитать и свое же письмо не могу понимать».

Так это и осталось: читал он трудно, медленно, по буквам и по слогам, наталкиваясь на препятствия каждую минуту (ведь зрительно-пространственный аппарат коры головного мозга был разрушен), но писать он мог, пусть автоматически, пусть мучительно подбирая слова и мысли. Но он мог писать!

«Случилось так, что я теперь мог писать «автоматически», короткими словами, не думая почти, что получится из-под карандаша, не в силах даже прочесть, что написал только что. Но у меня «автомат»

59

по чтению почему-то не мог работать. Я гляжу на слово «головокружение», гляжу на буквы этого слова и вначале ничего не понимаю, просто гляжу на непонятные буквы и на часть слова, как смотрит ребенок, не видевший букваря и букв. Но вот я начинаю что-то вспоминать, начинаю смотреть на первую букву — Г, жду какое-то время, наконец, я вспоминаю букву Г, спешу глядеть на следующую букву О. Жду какое-то время, наконец, говорю тихонько ГО, потом спешу глядеть направо на букву Л, жду какое-то время... назвал букву Л, спешу глядеть на букву О, потом говорю тихонько себе: «ГО-ЛО, — потом спешу глядеть на букву В, жду какое-то время... потом спешу глядеть на букву О... пока я глядел на букву О, из моего поля зрения ушло влево две буквы,

то есть на поле зрения я вижу букву О, и слева еще только вижу две или три буквы, а те первые две-три буквы (ГО-Л) я уже перестал видеть. Вернее сказать, на том месте я «вижу» теперь серую тьму с какими-то колеблющимися, мерцающими точками, нитями, тельцами...

И так буква за буквой я читаю каждое слово таким же медленным путем — буквами, слогами. «Ав-томат» при чтении в моем положении невозможен».

И он решил писать дневник, описать историю своего ранения, ту страшную бездну, в которую его бросило, тот путь мучительной борьбы за себя, за восстановление потерянного, который ему пришлось пройти.

И он назвал свой дневник одной фразой: «Снова борюсь!».

60

„История страшного ранения"

Он писал этот дневник, историю своего заболевания, двадцать пять лет, изо дня в день, мучительно подбирая слова и иногда затрачивая целый день, чтобы написать половину страницы. Он сначала назвал его «История страшного ранения», а потом озаглавил «Снова борюсь».

Это был мучительный труд, полный судорожных попыток и минут отчаяния, подталкиваемый постоянной надеждой, труд, берущий все его силы, труд, которому он отдавал всего себя.

Конечно, он научился быстро, не думая, писать слова. Но как это далеко от письменного изложения своей мысли. Из-

60

лагать мысль и делать это связно — это совсем другое. Для этого нужно переводить мысль в слова, а они-то не приходят сразу, их надо мучительно искать, рыться в памяти, связывая в фразы, а фразы должны воплощать и развивать мысль. Нет, это совсем не то, что просто, сразу, не отрывая карандаша от бумаги, написать слово.

Даже то, как пишут письма, как начинают их, как связывают фразы,— все это исчезло. И над каждым письмом приходится мучительно трудиться, искать, спрашивать, перебирать, а на это уходят дни, недели.

«Несколько недель я подолгу думаю, как и что написать, но хороших и нужных слов я не мог написать, потому что не мог что-либо вспомнить из своей разбитой головы. Я подолгу думал и думал, как надо правильно писать письмо, и главное — его начало. Я спрашивал у людей, как правильно пишется начало письма, пробовал читать в книге про это... И почему-то я всегда очень долго думаю, думаю и никак не решаюсь начать писать письмо — день, другой, третий, пока сильно не разболится голова.

«Привет из Казановки!»... Хотя я был тогда в Кисегаче. Мои родные, наверное, сразу поняли, что голова у меня пробита здорово, и сильно стали обо мне беспокоиться и думать, каким же теперь я стал?

В письме я мало писал, так как не знал, что писать в письме. По привычке старался писать слова автоматически, и писал подчас так, что не мог сам прочесть свои же написанные слова, так как не понимал своего письма, не понимал своих же написанных букв. И в письме, в связках я путал различные понятия. А над таким письмом я почему-то долго думал, и на это у меня уходит страшно много времени. Какая-то непонятная сила не позволяет мне сразу и быстро написать хотя бы письмо своей матери, а отчего это так — не могу и понять. Но все же я теперь мог сам написать письмо!

А ведь, чтобы написать одно письмо, мне приходилось подчас ожидать целый день и даже подчас больше недели, пока «сообразит мой мозг», а что же мне надо написать? И мне приходится думать, думать... вспоминать, вспоминать, а как же надо написать письмо такому-то лицу. От этого думания немного голова тупела, от длительного соображения уставала еще больше...

Без конца тружусь над словом, вспоминая нужные слова. Иногда я берусь писать письма знакомым

61

врачам и учителям по речи и памяти — по госпиталю, по лечебному институту. Писать письма после ране-ния для меня стало тяжелым делом, так как я всегда теперь стал находиться в затруднениях из-за за-бывчивости (из-за болезни), а что написать, как написать? Я подчас неделю, другую сижу и думаю над одним письмом. Долго думаю, соображаю медленно, медленно, без конца сравниваю разные письма, а как же правильно написать нужно мне письмо?

Я по-прежнему тружусь над словом, чтобы оно быстро вспомнилось из памяти, пока теплится возник-шая мысль, или над образом окружающего думаешь, зная слово. Ведь у меня по-прежнему не вспоминаются нужные слова, когда хочешь говорить или мыслить, по-прежнему не схватываются сразу нужные понятия в речи или в мыслях своих...

Когда я сажусь писать кому-нибудь письмо, то у меня, как правило, уходит на это дело целый день, а то и два...».

Ну, а если написать не письмо, а рассказ?! Вот ему читают маленький отрывок, сказку; такие дают ученикам второго класса. Конечно, это легче: здесь все уже сказано, уже не нужно искать мысль, думать, с чего начать.

Но и это так трудно! Смысл известен, мысль ясна, но как сложить фразы! Как превратить мысль в связанную речь, когда все слова раздроблены, а фразы построены очень сложно, с запятыми, с такими трудными и недоступными грамматическими оборотами.

И слова роятся тучами, как пчелы, мелькают разрозненные предложения, и из них надо выбрать нужное, объединить слова во фразы.

А что если написать не рассказ, который ему только что прочитали, а попытаться изложить то, что с ним случилось? Если написать свою собственную историю, «Историю страшного ранения»? Если описать свои недостатки, сравнить себя в прошлом и теперь, написать, каким он был и чем стал теперь, осмыслить и связно изложить свои трудности, описать свое раздробленное на тысячи кусков сознание?

Конечно это неизмеримо труднее.

Надо было припоминать все по кусочкам, бережно собрать их, разместить в нужной последовательности, а потом — и это, конечно, самое трудное — превратить эти кусочки в стройные фразы, а из фраз построить целое связное изложение... А это почти невозможно...

Ну, а если это получится?!

И он принялся за эту непосильную, титаническую работу.

62

«И вот я приступаю к писанию. Я решаю писать по частям, по датам городов, в которых я лежал в госпиталях. Они на первое время являлись для меня основными данными.

И я начал вспоминать все, что мог вспомнить из своей разбитой памяти, и тут же писать. Мне,

конечно, хотелось написать свою «Историю» в виде правдивого рассказа, как пишут писатели. Но когда я начал писать свою «Историю», то я сразу же понял, что у меня не получится такого писания, которое пишут писатели, у меня не хватало слов и мыслей для ведения писания. Вот у меня теплится мысль написать о начале наступления, но я никак не могу набрать нужных слов для этой мысли. Я долго копошусь в своем уме, стараясь выискать из памяти нужное слово для этой мысли, а тем более мне трудно вспомнить настоящие слова для данной мысли. Но нужно что-то, что-то вспомнить, хотя бы вспомнить примерные слова, приблизительные слова, неточные хотя бы. И я их набираю, эти подсобные слова для моей мысли. Но я все же не сразу пишу, так как мне нужно составить фразу. И я ее начинаю составлять, по многу раз перевертывая, чтобы фраза была похожа на те, которые я читал или слышал из книг правильных и нормальных.

А как тяжело писать. Вот придет в голову мысль описать тот или иной момент из воспоминания ране-ния и последующей болезни, его начало. Вот уже уловил хорошую мысль. Начинаю по этой мысли искать слово, другое.., третье же слово для нужной мысли никак не могу, не вспомню... ищу, ищу... стой! нашел! нашел! А где же моя нужная мысль?., забыл. А где же еще два слова, которые я нашел с трудом? — тоже забыл. Снова начинаю копошиться в памяти, снова ищу мысль для писания, ищу подобные слова для той или иной мысли, записываю их на разных листках и бумажках, прежде чем включить их в нужное мне писание, скрепляя их с нужной мыслью по течению потревоженного ранением разума. А как это мучительно тяжело... Без конца забываешь, а что же ты пишешь, о чем ты сейчас думаешь, где ты находишься — не помнишь, не знаешь целыми минутами...

Поэтому, прежде чем писать свою историю, мне пришлось сначала надписывать на различных листках бумаги разные слова, выражающие собой то просто названия предметов, то названия различных вещей, то различные явления, то различные мысли и

понятия, и все эти слова писались где попало и как попало. А затем из собранных таким образом слов, фраз, мыслей на газетах, на бумаге я начинал писан, историю в тетрадь, перегруппировывал слова, фразы, сравнивая их с теми, какие пишутся в книгах, а уж потом записывал предложение целиком для моей мысли про историю болезни...

И когда я уже почти считаю, что составил фразу, я сначала на клочке бумаги (или па газете, или в блокноте) напишу, и, убедившись, что она — фраза более или менее подходяще читается или слышится, я се — эту фразу — записываю. Затем начинаю следующую, перечитывая без конца написанное ранее, хотя читать свое же написанное тяжело. Мне очень трудно, тяжело читать свое же написанное, потому что нужно прочитать каждую букву, которую я сам же недавно «автоматически» написал.

Таким образом я напишу несколько фраз. Но я не могу писать дальше иначе, пока не прочту две или три фразы предыдущего писания, т. е. самые последние фразы, и это я должен сделать для того, чтобы понять мысль, о чем же я должен писать дальше. Иначе я не могу писать — такова моя теперешняя память.

...Я повторял многократно одно и то же в своем рассказе и, может быть, опять я начну писать об одном и том же, так как я без конца забываю, что я написал и что надо еще написать. И у меня в моем мозгу, в его разбитой памяти часто получается так, что я часто повторяю одно и то же в своем рассказе, а что-нибудь нужное, важное забываю, пропускаю и не вспомню в нужное время писания и упущу, что хотел написать.

...Я не в силах удерживать в голове что-либо многое, что-либо долгое, я только могу что-либо вспоми-нать и писать по маленьким кусочкам памяти разбитой, которую я все пытался и пытаюсь как-то и чем-то укрепить или закрепить, или «склеить» в своем мозгу поврежденном и пораженном...

Я пишу свою собственную «Историю моей болезни» с утра и до пяти часов вечера, пока мать и

сестры работают в учреждении, а как только они приходят с работы, то я уже не могу писать, и всякий разговор, шум различный мне никак не дают возможности писать, думать, если я в комнате нахожусь не один...

И я подчас неделю, другую сижу и думаю над одним листком. Долго думаю, соображаю медленно,

64

медленно, без конца сравниваю разные листки, а как же правильно написать то, что мне нужно...

Над этими бесконечными писаниями я страстно и страшно трудился и тяжело болел и от ранения, и от этого бесконечного труда «над своей головой»! Это был и остается титанический труд, который напоминал труд помешанного человека, который думает только об одном и том же...».

И так начались годы мучительного, титанического труда. Сначала год, потом второй, потом третий. А муки воплощения мысли в речь не исчезали, работа не становилась легче.

Он уже привык садиться с утра за стол, медленно и настойчиво искать слова, судорожно пытаться уложить непослушные слова во фразы — все это для того, чтобы за день получить десяток строк, иногда страницу. А легче не становилось.

«Третий год я думаю и добавляю, и заново пишу свой рассказ. Только я замечаю, что за эти годы я стал медленнее думать и соображать в своем писании, и подчас не напишу и полстраницы за весь день или вовсе целый день думаю, думаю и ничего не придумаю, что дальше хотел писать, и эдак могу думать несколько дней и ничего не напишу для своего рассказа — нет каких-то сил, нет памяти, и думы, и мысли, понятия куда-то исчезают из головы, проваливаются куда-то в пропасть беспамятства...

Это свое последнее писание почему-то затянулось и растянулось на долгие месяцы и не поддается до конца, чтобы его закончить. Третий год я стараюсь докончить это писание. И почему-то год от года мне тяжелее писать — вспоминать о всем случившемся, и год от года тупеет моя голова, забываются все под-робности болезни, подробности из прошедшей и из сегодняшней жизни...

Но сдаваться я не хотел. Хотел довести начатое дело до конца! И я целый день сижу за столом и без конца тружусь над словом. Больше я ничего не мог придумать для спасения своего положения, т. е. помнить и говорить, когда бы я ни захотел. Целый день я сижу за столом, сильно уставший и ослабевший. А когда я приподнимаюсь из-за стола, то часто я внезапно спешу снова сесть за стол, хватаюсь руками за стол или за стул, так как меня охватывает резкое головокружение, словно трижды перевертываюсь кверху ногами вместе со столом, стулом и домом («толчки кружения»). Но я, конечно, не каждый день сидел за

65

столом над рассказом. Когда я целый день просижу за столом, то на другой день (а то и два-три дня) так сильно разбаливается голова, что часто приходится лежать в постели».

И так потянулись годы.

На столе накапливались тетради — сначала тонкие тетради из пожелтевшей бумаги — он делал их сам, потом он отсылал их пишущему эти строки и принимался за свою повесть снова.

Теперь он уже писал в толстых серых тетрадях, а затем их сменили большие тетради в клеенчатых переплетах. Вот уже написана тысяча страниц. Потом вторая. Он пишет еще раз, он хочет написать полнее, лучше. И вот уже скоро почти три тысячи страниц, написанных мелким почерком. Страниц, которые он сам написал, и ни одну из которых он сам не может прочитать!

Он начал свою повесть, когда еще не кончилась война. Он продолжал ее десять, двадцать, двадцать пять лет.

Трудно сказать, есть ли в истории еще другие документы, на которых затрачен такой адский, мучительный труд и которые так и остаются недоступными для самого автора.

Для чего же он делал это? Для чего?!

66

Для чего он писал?

Он сам много раз спрашивал себя об этом. Для чего же он пишет? Для чего ведет свою мучительную, изнурительную работу? Нужно ли это?!

И он пришел к твердому решению: нужно!

Ведь он не мог быть полезным другим, не мог помогать по дому, путался выходя на улицу, не мог слушать и понимать радио, не мог читать книги... все это было потеряно. Но писать. По зернышкам выбирать кусочки своего прошлого, сопоставлять их друг с другом, размещать их в эпизоды, описывать картины прошлого, формулировать свои надежды, выражать свои переживания. Нет, это он еще может.

И писание его дневника, повести его жизни стало для него основной потребностью.

Это нужно ему самому. Это была единственная нить, связывающая его с жизнью, единственное, что он действительно мог делать, его единственная надежда на то, что он восстановится, станет таким, каким был раньше, разовьет свою мысль, сможет быть полезным, снова найдет себя в жизни.

66

Через воскрешение прошлого — к тому, чтобы прочно утвердить себя в будущем! Вот для чего он делает это, вот почему он начинает свой изнурительный труд, проводя часы,

дни, годы в поисках утерянной памяти.

А может быть это будет полезно и другим. Может быть, поможет людям лучше понять, чем они обладают я что может быть потеряно от одного маленького осколка, проникшего в мозг, разбившего их прошлое, на тысячи кусков раздробившего настоящее, лишившего их будущего.

Это мучительно трудно — писать, это титанический труд, но все это оправдывает себя!

«Цель моего писания показать, как я боролся и борюсь за восстановление своей поврежденной ране-нием памяти... Это чрезвычайно тяжелая борьба...

Иного выхода у меня не было, кроме собирания слов от слушания радио, от чтения книги, от говора людей, а потом собирания слов, фраз, мыслей, и, наконец, писания рассказа все того же, который я начал писать еще в 1944 году. Чем-нибудь другим заниматься — хотя бы читать грамматику или физику — я по-прежнему не мог после этого странного и страшного ранения в голову...

Вот я берусь за перо, в моей голове возникла мысль написать — вспомнить из памяти моменты перед ранением, когда я пошел в наступление. В моей голове возникает смутный образ — начало наступления на Западном фронте, на небольшом участке фронта. Но вот, как описать этот момент наступления, когда никак не можешь набрать нужных слов для данного писания? Я терпелив, я подолгу ожидаю, когда вспомнится из моей головы то или иное слово, нужное для

описания момента наступления перед мо-им тяжким ранением, сразу же записываю это слово на отдельном листке бумаги, затем другое слово. Но если из памяти не вспомнится ничего, то я слушаю радио и встречающиеся нужные или подходящие для момента слова выписываю. Затем я из этих собранных слов начинаю составлять фразу, согласую ее с подобной же фразой (или предложением!), которые пишутся в книге или говорятся по радио. Переделав на нужный манер фразу или предложение, я ее, наконец, записываю в тетрадь. Чтобы начать писать следующую фразу, я предварительно вынужден прочитать то, что я написал только что, потому что я уже забыл, что я написал в последнем предложении...

67

Так я пишу о том периоде сейчас, собирая из памяти различные слова, мысли, понятия для настоящего писания, скрепляя фразу за фразой, предложение за предложением, прочитывая нужные две-три фразы предшествующего писания, сравнивая их!

Я увлекся этим болезненным писанием, никуда не выхожу из комнаты, не хожу на прогулки, не хожу в кино, никуда не выхожу из дома, а все стараюсь писать свою историю, вспоминать об исчезнувшем моем прошлом, заниматься вспоминанием слова и мысли, которые меня по-прежнему тяготят с неуменьшающейся силой...

И вот я изо дня в день, месяц за месяцем регулярно собирал и собираю слова из своей рассыпанной памяти, собирал мысли, собирал и записывал их — и это продолжалось и продолжается до сих пор...».

И эта работа стала основным, что заполняло его жизнь. За ней лежала затаенная мысль, ставшая целью всего его существования: а не поможет ли писание своей повести победить болезнь, вернуть его к жизни, сделать из него человека, как все другие?

Я хотел достигнуть этого почти ежедневным писанием своего единственного рассказа о случившемся ранении в голову, о последующей болезни головы и как я хотел победить эту болезнь путем моего рассказа, чтобы все знали об этом...

Я вот уже третий год тружусь над рассказом о своей беде и болезни вот этой. Это своего рода думы, занятия, труд и писания о себе и над собой. Этот труд все же успокаивает меня, все же я тружусь, и потом от этого труда многократного (сколько раз в разные годы я писал такой труд-рассказ) у меня улучшается речь — я лучше говорю, вспоминая слова, которые разбиты ранением и болезнью и рассыпаны где-то в голове в беспорядке, а от тренировки (думы, писания) они чуть лучше вспоминаются в простом повседневном общении людей путем таких слов!..

Ведь это писание остается тем, посредством которого я только и мыслю. Стоит только бросить это писание, закрыть листы его, как я вновь погружаюсь в область опустения и пустоты, в мир беспамятства и полной неграмотности, в мир «ничего незнания»..."

А может быть, он будет писать не только для себя? Может быть, это пригодится врачам, которые лечили его, помо-

68

жет лучше разобраться в этой страшной болезни, сделать понятным, какие страшные последствия может вызвать ранение мозга, уяснить, как работает и страдает мозг?

Да, это должна быть не только борьба за свою собственную жизнь, за связь с миром, это может стать нужным и для других.

«Я решился писать рассказ о случившейся в моей жизни болезни от ранения головы. Эта мысль пришла мне в голову потому, что мне хотелось написать каким-нибудь врачам, что у меня не работает голова и ничего в ней не держится — в моей голове, в ее памяти.

Я решился описывать свою болезнь и потому, что ее легче описывать, так как все равно я ничего больше вспомнить не мог из своей памяти, кроме текущей в голове болезни, и потому, что хотел показать врачам, и тогда, может быть, они вылечат мою болезнь, и потому, что если врачи не смогут вылечить мою болезнь, то хотя бы я сам своим писанием улучшу память слова, чаще вспоминая те или иные слова по необходимой мысли...

Может быть, думал я, врачи поймут меня, когда я опишу свою болезнь подробнее, с записью, и тогда, наверно, они поймут меня и мою болезнь и вылечат ее. А то ведь я в госпитале плохо мог говорить и пом-нить, чем я болею, и врачи, может быть, и до сего времени не знают, что я страдаю, раз я не мог высказаться им подробнее. Другой причиной написать историю своей болезни было стремление развиваться и развивать свою память и улучшать ее, вести борьбу с афазией, уменьшая ее. И это писание «Истории моей болезни» намного развивает мою память, развивает язык, развивает память слова и его значения...

Это верно. Но я знаю также, что мое писание «История моей болезни» может оказать неоценимую услугу научным работникам в области мозга и памяти, психологии и медицины, неврологии и прочее...».

Он дал нам в руки не только трагический документ. Описывая свою судьбу, он дал нам исключительные по ценности знания. Кто может лучше описать событие, чем его очевидец, его участник, чем сам пострадавший?

Он был пострадавшим — теперь он превратился в исследователя.

Он дал нам описания исключительной яркости, и мы попытаемся пойти по его следам, шаг за шагом пробираясь в таинственный мир человеческого мозга.

69

„Я живу в беспамятном мире"

Сам он не считал «странности пространства» своим основным несчастьем. Основным несчастьем он считал «странности памяти», ее утерю, ее распад. Это его особенно мучило, это была катастрофа.

Он помнит первые недели после ранения, недели, предшествовавшие тем дням, когда он обнаружил, что не может читать.

Вначале его память была совсем разрушена: он плохо понимал ту речь, с которой к нему обращались, и что самое ужасное — не мог вспомнить ни одного слова, он все забыл. Он должен сказать свое имя, свою фамилию — он не помнит их, у него какая-то пустота. Ему нужно попросить «утку» — и этого нет. Язык слушается его, он легко повторяет то, что ему говорят, но, как найти слова? Откуда он? Где он живет? Какого района? Как зовут мать, сестер?! И снова — пустота, мучительные поиски. И снова слов нет, они куда-то пропали. Он потерял самое человеческое, что есть у человека, в памяти его нет ни одного слова. Можно ли представить себе что-нибудь ужаснее, чем эта потеря «речи-памяти»?

Все это обнаружилось уже в первые дни — в полевом госпитале.

«После обеда, когда все улеглись спать, мне вдруг захотелось... мне нужна была «утка»... но вот сложный вопрос, как вспомнить это слово, чтобы позвать няню. Но я никак не мог вспомнить это слово «утка», хотя я не раз называл это слово и сам подчас вспоминал (после ранения я стал понимать смысл этого слова), но на этот раз, когда нужно было вспомнить это слово, я не мог его вспомнить... Какая-то бесконечная помеха в памяти, в каждом слове не дает мне возможность вспомнить то или иное слово, в данном случае «утка» и «судно»...

Я не мог почему-то, не мог вспомнить названия своего района, своего поселка и даже своей области, хотя мне казалось, что я вот-вот назову их, но вот никак не могу вспомнить, хоть жди час, другой или жди весь день...

А мой сосед взялся вспоминать за меня различные области, районы, поселки, различные имена и отчества. Вот он назвал несколько областей... и вдруг я вспомнил среди них — Тульскую область, т. е. нашу область, где живут мои родные, и я радостно произ-

70

нес: «Тульская область!». Тогда мой сосед обрадовался и сказал, что мы оба земляки!..

Но неугомонный товарищ опять начал произносить при мне различные имена женские, и вскоре я вспомнил имя своей старшей сестры: «Евгения» — вот таким же образом. И товарищ взял конверт и надписал на нем: «Тульская область, Епифанский район...

Так я и лежу все время на правом боку или сижу понемножку в постели. Сижу и пробую вспоминать что-либо из памяти, из прошлого, но мне не удается что-либо вспомнить по своему желанию. А когда я ни о чем не думаю, мне вспоминаются различные слова, разные мотивы песен, и я их потихоньку себе под нос напеваю...».

Это было ужасное ощущение: оказывается — он не только живет в раздробленном мире: его покинула память, припоминание прошлого стало трудным, он не мог выразить свои желания, свои самые простые мысли. Окружающие предметы потеряли свои названия, из прошлого не возникало ни одного слова; не немой, не парализованный — он оказался лишенным самых простых средств общения.

И начинается новая мучительная работа над тем, чтобы вспомнить забытое, научиться припоминать слова, схватить слово, когда оно так нужно, общаться с людьми, вернуть свою речь.

На первых порах это было трудно, почти невозможно. Потом слова стали появляться — то одно, то другое, потом возникли простые фразы, они не сразу приходили в голову, ему нужно было делать усилие, чтобы вспомнить и не забыть их, но вот, через месяц самое тяжелое было уже позади — он мог общаться с людьми.

«А пока в это время я набирался главным образом зрительных образов памяти (предметов, вещей и прочее) и памяти словесной, развивал ее подвижность. Я заново осознавал все окружающее и старался его связать со словесным, с речевым, ибо я все забыл и живу сызнова, хотя я этого сам еще не мог наблюдать и замечать, как, что и почему все это происходит в моей голове, но отражение действительности понемногу регистрировалось такой памятью, какова она есть теперь в моем понимании вещей...

Уже к концу первого месяца после ранения или в начале второго месяца ранения я начал все чаще и

71

чаще вспоминать о матери, о брате, о младшей и о старшей сестрах.

Я вспоминал их не сразу, а по частям: то вспомню о матери, то о брате, то об одной сестре, то о другой и все это вспоминал в разные дни, в разное время. И все приходило в голову неожиданно, не тогда, когда бы мне самому захотелось вспомнить, а тогда, когда все это само по себе вспомнится! Но вот к концу второго месяца ранения один товарищ по госпиталю начал интересоваться мною и стал записывать адрес моих родных по отдельным моим воспоминаниям — кусочковым. Я вспомню вдруг название района — он запишет; на другой день или через день я вспомню вдруг название поселка — он запишет; то вдруг я вспомню имя сестры — он запишет. И наконец, товарищ написал моим родным, на свое усмотрение, письмо с несовсем точным адресом,

так как я не знал уже, забыл совсем улицу, номер дома и номер квартиры. Я, конечно, все еще не могу вспомнить фамилии своей младшей сестры и фамилию матери, ко-торые носили иную фамилию (по второму отцу)...

Иногда я вспомню название города, но тут же быстро и забуду через минуты, а то и меньше, то иногда вспоминаю адрес района, и тоже быстро забуду, потом долго не вспоминая его.

...Я слушал все, что говорят кругом, и песни, рассказы, разговоры как бы понемногу наполняли голову... подвижность слова, его новое запоминание и вспоминание слова, которые затем поне-множку будут входить в состав мышления, в состав моих мыслей.

Сначала я не мог припомнить нужных слов для письма. Но в конце концов я взялся писать письмо домой и быстро написал его — коротенькое и маленькое. Прочитать же то, что я написал, я совершенно не мог в этот раз, а показать товарищам, что я написал, мне почему-то не хотелось. А чтобы излишне не смущать свою душу, я быстро запечатал конверт, написал домашний адрес родных и отнес письмо на почту».

Самое тяжелое уже позади. Так ли это? Думал ли он, что первые успехи, которые были достигнуты, так и останутся последними, что то, что он понял в первые месяцы после ранения — распад его памяти, невозможность черпать из прошлого полной мерой, припоминать слова, вспоминать то, чему его учили, легко использовать свои знания, что все это

72

невозвратно исчезло, что память так и останется у него раздробленной, недоступной, что над каждым кусочком, который он извлекает из памяти, ему нужно работать, работать, работать.

Если бы он с самого начала знал это — жизнь стала бы для него непереносимой. Но он надеялся, пытался делать все, чтоб «разработать» свою память, боролся за каждый участок, пытался разобраться в том, что же с ним произошло, понять, что же это?

Он писал как исследователь, с точностью психолога, который владеет всеми деталями этой науки; мучительно он подбирал выражения, фразы, чтобы описать свои трудности, сформулировать свою мысль, — и он дал нам классические страницы анализа своего дефекта.

И он делал это один, сидя за столом своей маленькой комнатки, в городке, который раньше назывался Казановкой, потом стал рабочим поселком Кимовском, не общаясь ни с кем, ни от кого не получая помощи.

«До ранения в моей памяти быстро и четко работала мысль в любом направлении, управляя моими желаниями. После ранения моя память как бы раздробилась на мельчайшие памятки, слово и значение его разобщилось друг от друга некоторыми промежутками времени, мысль уже перестала работать четко, она так же путается, как и слово и как значение его; главная часть памяти исчезла навсегда: любые понятия «доходят» с большими затруднениями, а то и вовсе не «доходят», от многих больших значений остались только одни слова безо всякого значения...

В голове происходит что-то непонятное, неясное, странное. Я пытаюсь что-то вспомнить, но не вспоми-наю. Я пытаюсь что-то сказать, но не в силах что-либо сказать. Все мысли и слова куда-то разбежались. Вспыхивают в голове какие-то образы предметного -вещественного порядка, которые быстро появляются и мгновенно исчезают, заменяются другими образами и те исчезают. Когда я пробовал и пробую что-нибудь говорить или вспоминать словесно, то я без конца мучаюсь, ищу и часто не найду то или иное слово для своей же речи и мысли.

Эти бесконечные невспоминания того или иного слова, тех или иных мыслей, тех или иных воспоми-наний или непонимание тех или иных понятий не дают мне возможности учиться, помнить, запоминать и осознавать все то, чему когда-то я учился, помнил, знал, осознавал...

73

Я уже писал, что после ранения я уже не имею памяти, память моя разобщена, разорвана, раздроблена на отдельные мельчайшие «памятки». Причем и эти отдельные «памятки» тоже сохранились не все, а лишь небольшая, незначительная их часть.

Я начинаю, я пробую вспомнить, что только могу, но... у меня ничего не получается из воспоминаний, ну, в крайнем случае — десяток, другой слов, не больше, из общих воспоминаний, и все тут. Больше я ничего не могу вспомнить...

Я не мог заниматься чем-либо, сразу все забывал и ничего абсолютно ничего не мог вспомнить. Чем я занимался — все куда-то исчезало из памяти! Словно навесили некий замок на память, когда я оставался один...

Какое-то странное дело произошло после ранения. Словно в голове оборвались какие-то связки памяти, от чего я страдаю и до сих пор. Найти бы эти связки и исправить их, как исправляют электрики оборванные провода в сети города!».

И все это тянется бесконечно: дома, в городе, на прогулках, когда он один, когда он пытается общаться с окружающими.

«Когда я хожу по поселку, гляжу на вещи, на предметы, на явления, то я всегда вынужден что-то вспоминать, напрягаясь, чтобы вспомнить, как же называется та или другая вещь, тот или другой предмет, то или другое явление... Я особенно не огорчаюсь... Когда же я сижу на скамеечке у своего дома, разговариваю со знакомыми из своего дома, в простом и обычном разговоре я уже немного повышенно напрягаюсь в памяти, чтобы припомнить и осознать, что говорят мне и что я должен говорить. А когда я берусь говорить со своей матерью или со своей младшей или старшей сестрой, я напрягаю свою память и нервы еще больше, чтобы осознать и понять, что мне говорят и что я должен говорить иди сделать... а тут невспоминание нужных слов или понятий...

Или вспомнится малая доля того, что хотел говорить, а большая доля памяти застряла где-то там, в голове и нельзя ее вытащить из памяти. Мои родные пробуют переспрашивать меня, что бы я рассказал им, но, не добившись от меня нужных слов, они отходят от меня или отмахиваются, что, мол, все равно не доскажет, не вспомнит, что хотел рассказать.

74

На собрании я боюсь выступать, так как все быстро забываю, что говорилось на собрании, и не знаю что бы я мог сказать, так как в голове словно пусто или бессвязно, как-то рассыпано в моей голове, что не соберешь слов, мыслей. Поэтому я и не пытаюсь что-либо на собраниях говорить.

...Прямо бесконечная забывчивость! Иногда я приходил к сараю, чтобы взять ведро угля, дровишек, но, увидев замок у сарая (я забыл ключ), я возвращался домой, а придя в квартиру, я уже забывал, что мне нужно снова идти в сарай, взять ключ...

В первые дни и месяцы жизни в поселке я сначала боялся далеко отходить от дома, так как я быстро забывал, где я нахожусь, совсем не мог ориентироваться ни на местности, ни в пространстве...

Я почему-то часто по-прежнему не могу сказать, какое сегодня число, какой сегодня день (среда ли, четверг ли и так далее), а когда я берусь вспоминать, что кушал на завтраке или на обеде — я тоже часто не могу сказать, что я кушал в этот день...

Но главная моя беда, главная болезнь — это забывчивость и беспамятство, а из-за этого невспоминание слова и невспоминание образа. Уж очень стал беспамятным окружающий меня мир. И до сих пор, куда я не взгляну — на вещи, на предметы, на явления, на животный мир, на человека — я не в силах припомнить сразу или даже за весь день нужное слово, чтобы его

произнести своим языком или в уме своем. И хотя я общаюсь с людьми упрощенно — простыми повседневными словами, однако даже в своей квартире не могу вспомнить названия того или другого предмета, той или иной вещи, хотя бы там... «конфорка», «шкаф», «шторы», «занавеска», «подоконник», «рама» и так далее, и так далее. Еще хуже вспоминаются части различных предметов, вещей и так далее. А от долгого невспоминания различных слов, которые я не «тренирую» для речи, для памяти или на которые я не обращаю внимания, хотя и вижу их, я начинаю забывать их, теряю их назначение, я даже забываю назначения частей своего тела...».

Что же с ним? Почему он не владеет своей памятью? Все ли в его памяти одинаково разрушено? И как именно распалась его память?

Надо разобраться в этом... И он начинает кропотливую работу, работу археолога памяти, пытаясь отделить то, что сохранно, от того, что неотвратимо утрачено.

75

«Я начал жить и вспоминать с изнанки»

Он начал думать об этом и скоро с удивлением обнаружил, что память нарушена у него неравномерно. Сначала он не мог вспомнить ничего: где он? кто он? откуда он?

Потом постепенно воспоминания прошлого начали всплывать, но обычно это были воспоминания давнего прошлого, картины детства, воспоминания о школе, о товарищах, учителях, воспоминания о годах, проведенных в институте. А картины недавнего прошлого не приходили в голову. Он начал вспоминать «с изнанки».

«В первые недели ранения я не мог вспоминать свое имя, отчество, фамилию, даже и своих близких (мать, сестер, брата). И лишь потом я начал понемножку вспоминать о том, о сем, и вспоминал больше о прошлом из детства и начальной школы, т. е. начал жить и вспоминать с изнанки, так как теперь легче вспоминалось давно прошлое — детский сад, его здание, здание начальной школы, игры, лица детей, учи-тельницы, а вот недавнишнее прошлое, хотя бы житье-бытье на фронте, или совсем забыл от ранения, или долго не вспомню...

Странное это дело. Вместо того, чтобы все вспомнить и помнить последние времена перед ранением — наиболее яркие и живые — я вспоминаю больше из периода детства и начальной школы, — они мне легче приходят в голову — в ее пострадавшую память...

И я по существу живу памятью этого дошкольного и пионерского времени!? И так по сей день...

Я вот сижу или что-нибудь делаю и вдруг — образ или видение — картина, стоящая перед глазами минуты две. Так, например, мне встречались видения-картины из детского прошлого, хотя бы: берег Дона, где я в детстве любил купаться, или вид собора г. Епифани (где я жил — Тульская обл.), или выступ-ление мое в клубе вместе с товарищем.

По этим видениям я узнаю свое прошлое (хоть и небольшими частицами), и мне даже кажется, что частое появление таких видений несколько восстанавливает зрительную память прошлого и мою общую память. Почему? Потому что, когда появляются эти видения-образы, то я смотрю на них, как на фотографии недавнего прошлого...».

Только позднее к этим воспоминаниям стали присоединяться другие: вот он вспоминает школу, где он проходил

76

военную подготовку, у него всплывают картины фронтовой жизни, он вспоминает, как он шел в наступление, картины его последнего, трагического дня.

Потом — все пусто. А потом госпиталь, лица врачей, нянь, которые к нему подходили и спрашивали его: «Ну, как ты, Лева?..». А потом — всё новые и новые госпитали. И, наконец, восстановительный госпиталь на Урале, где впервые с ним начали заниматься и пребывание в котором так много внесло в его жизнь.

И как красочно описывает он этот госпиталь... Как ярко возникали у него позднее картины жизни у себя в Кимовске, потом — картины других госпиталей и санаторий.

«Место для госпиталя прекрасное: на несколько километров вокруг видны небольшие возвышенности, покрытые сплошным хвойным лесом, а частью и лиственным лесом, а среди лесного массива выступают то там, то здесь большие озера! Есть что посмотреть, есть чем позаняться и отдохнуть. Все тут же, среди разбросанных в хвойном лесу нескольких зданий-корпусов; слева и справа от корпусов — два большущих озера, где можно заниматься рыбной ловлей, ловлей раков и ловлей птиц... прогулки на лодках по озеру; прекрасная купальня, статуи и в воде и на суше, клумбы с цветами, цветы; порханье лесных птиц, бес-конечный их гомон; прогулки за грибами, ягодами, различные игры на воздухе, танцевальная площадка, клуб, кино! Только отдыхай и развлекайся, да набирайся сил и здоровья!..».

И вот еще одно более позднее описание:

«Санаторий «Пумпури» находится совсем близко от моря, и всплеск морских волн при порывистом вет-ре подчас, кажется, заплеснет здание, когда ветер дует с моря. Утром 10 июня я вошел в санаторий, где меня дружески приняли, провели нужную запись, врачебный осмотр, назначения врача, а потом включился в санаторную жизнь.

И вот я живу здесь. Санаторий мне понравился: недалеко от здания видишь песчаный берег моря, ко-торое без конца волнуется от небольшого ветерка! Кажется, кругом не заметишь ни одной пылинки. Воздух чист и прозрачен. Сквозь облака видишь солнышко, но оно не жжет так сильно лицо или кожу, как жжет далеко, где-нибудь на суше. И как только я приехал в санаторий, я не ощущал ни жары, ни холода, что мне очень понравилось...».

77

Образы прошлого всплывали во всей их яркости, со всеми подробностями, только поэтому он и смог написать свой дневник.

Но когда он пытался вызвать их намеренно, самостоятельно вспомнить что-нибудь — это не удавалось ему.

Сначала это было совсем трудно: ему называют предмет, а он не может сразу же увидеть его образ. А за обра-зом, который всплывал с таким трудом, не вспоминалось все, что раньше было связано с ним такими прочными нитями.

«Назовет мне профессор слово «кошка» там или «собака», просит меня: «Ну-ка, Лева, представь-ка себе собаку с глазами, с ушами. Представишь?». Но я не могу представить ни кошки, ни собаки, ни любое существо после этого ранения. Я знаю, что значит собака — видел их, но в глазах представить собаку не могу после ранения... Не знаю, как муху, как кошку нарисовать или представить, как лапы, как уши у кошки представить, — я не представляю...

Если же я хочу представить в своих глазах какой-нибудь «образ» с открытыми или закрытыми глазами, то мне не удается этого сделать, я не могу представить себе образ человека или животного, или растений. Лишь иногда появляются какие-то чувства, которые несколько напоминают подобие образа, быстро исчезающего. А так я все время вижу перед глазами какие-то точки и тельца...

Я пытался вспомнить и представить себе лицо моей матери, лицо старшей сестры, лицо младшей се-стры, но почему-то не мог, образ не вставал из памяти. Но когда я стал входить в комнату и

увидел лица родных, то я сразу узнал и мать, и сестер. Они очень обрадовались моему приезду и стали обнимать и целовать меня со слезами, а я-то уж сам не мог целоваться, потому что забыл, как нужно целоваться, а мать плакала, прижав меня к себе. Она плакала и от счастья, что сын приехал, и от горя, что сын приехал с разбитой головой, а от другого сына нет ни слуха, ни духа с самого начала сорок первого года, как началась война. Потом начались разговоры и расспросы, как доехал, то, се, а я пробую что-то отвечать, сказать, но у меня совсем ничего не получается. Язык что-то еще пробует мямлить непонятное. Я одно слово начну говорить, а еще нужных пятьдесять слов никак не могу вспомнить...

Я не могу понять, как возникло дерево, из чего оно состоит, и все, все, к чему бы я не дотронулся — все стало для меня таинственным и непонятным, я

78

не могу что-нибудь придумать, о чем-нибудь догадаться, что-нибудь создать новое. Я стал совсем другим человеком, противоположным по сравнению с тем, каким был до этого страшного ранения».

Потом стало легче. Память как будто начала возвращаться, воспоминания прошлого стали богаче, красочнее, но весь мир по-прежнему оставался таким странным, невыразительным, разбитым на куски, то, что стояло за каждой вещью, за каждым впечатлением, по-прежнему оставалось забытым.

«До ранения я хорошо все помнил, помнил чему учился очень долго, все легко понимал и осознавал, мог бы давать любые советы людям в любых направлениях! И вдруг после ранения я ничего не помню, ничего не знаю, на ходу все забываю. Я без конца удивляюсь этому, когда приходят в мою голову такие мысли. И при виде учительницы (или учителя) всегда полуглупо улыбаюсь, думая про себя: «Я это или не я? Сон это или не сон я вижу сейчас?»

...Бессмысленно и беспомощно гляжу я на проходящую мимо меня сегодняшнюю жизнь.

Да, жизнь проходит как-то без меня. Я часто слушаю радио, слушаю какие-нибудь рассказы или сказки, или пение, или музыку, и мне по старинке хочется все слушать по радио, слушать и вникать в суть дела, но оказывается, не тут-то было. Я не успеваю понимать, что говорится, или не понимаю вовсе, или понимаю, что говорится по радио, но тут же на ходу забываю все совсем — такова моя сегодняшняя память...

После такого страшного ранения моего весь окружающий меня мир стал выглядеть в моих пред-ставлениях как-то по-иному...

И что бы я ни делал, о чем бы я ни думал — все получается не так, как это нужно делать на самом деле...

По-прежнему все вещи, предметы, явления, живущие существа мне кажутся непонятными, неясными, я боюсь их понимать, трогать, щупать; по-прежнему тяготит меня пространство, я его боюсь, оно мне неясно. Окружающий меня мир остается непонятным и загадочным».

И все это не исчезало, все продолжало оставаться, хотя месяцы и годы — в трагедии памяти не изменялось ни-чего.

79

«Я понемножку читаю детские книжицы. Изредка я беру в руки учебник по грамматике или по физике, но опять я бросаю их в стороны: не идет в душу, болит и ломит от этого занятия голова...

И вот мне опять только и остается, что вспоминать из своей разбитой памяти свое прошлое, развивать свою память, слова и значения...

Да, всюду я встречаюсь с невспоминанием слова, подчас долгого его невспоминания, что является ка-ким-то образом отражением поврежденного, пробитого и обожженного осколком и поврежденного путем нескольких операций головного мозга. Почему я до сих пор чувствую свою ненормальность в памяти, в речи, в мышлении, в сознании, где бы я ни был, куда бы я ни пошел (в кругу ли семьи или в различ-ном обществе людей, или на прогулке, или в труде). До сих пор я чувствую сам свою ненормальность в разговоре с людьми, сам чувствую глуповатую улыбку при разговоре с людьми, глуповатый смешок и поддакивания, когда слушаю говорящего, или когда сам говорю и сам глуповато или ненормально под-смеиваюсь, хотя и сам не знаю чему...

Я ничего, абсолютно ничего не мог вспомнить, чем я занимался... все куда-то исчезло из памяти!.. Словно навесили некий замок на память, когда я оставался один. Когда же со мной разговаривают и я слушаю речь и слова, замок в моей памяти несколько приоткрывался — за счет говорящих со мной, от их слов — и я наэлектризовывался слегка словами и общением.

Странным я стал человеком после ранения и каким-то болезненным, и каким-то сызнова новым. Все, чему я когда-то учился и переживал в жизни до ранения — все куда-то исчезло, пропало из головы, из ее памяти после моего страшного ранения в голову. И вот я снова вынужден осознавать все то, что видел уже после ранения, что вижу теперь в повседневной жизни своей. Когда я выхожу из здания госпиталя на воздух — поближе к цветам, к деревьям, к озерам, — то я начинаю ощущать не только что-то непонятное и неопределенное новое, но и что-то страшно бессильное, не дающее возможности по-настоящему охватить и понять окружающее меня».

Что же это такое? Почему он забыл все? В чем корень этих «странностей памяти» - памяти, в которой так легко

80

всплывают старые образы и которая никак не может восстановить прежние, навсегда утерянные знания?

81

Странности „речи - памяти"

Он назвал свой основной дефект распадом «речи-памяти». И это имело основание.

До ранения каждое слово имело четкое значение, которое всплывало сразу же, как только он его слышал. Каж-дое слово было частицей живого мира, с которым оно было связано тысячами нитей. Каждое слово пробуждало рой живых, меняющихся, наглядно ощутимых воспоминаний. Владеть таким словом означало вызывать любые впечатления прошлого, проникать в связь вещей, рождать понятия, владеть жизнью. И это у него исчезло, и исчезло невозвратимо.

«Я гляжу своими глазами на все окружающее меня тихо и спокойно, и мне кажется, что все это окружающее мне понятно, знакомо. А как только я начинаю думать обо всем окружающем и начинаю вспоминать о каждой вещи, что я вижу сейчас, и начинаю спрашивать себя, а как же называется та или иная вещь, то я почему-то наполовину или более перестаю понимать эти вещи, а главное — не в состоянии почему-то сразу вспомнить то или иное слово по видимой мною вещи. И я опять спрашиваю себя: А это что?.. Это... как ее... Ну, как его... Солнце! А это... это... не туча, а... облако! И рядом... как ее... как его... (про «мох» я так и не мог вспомнить)... А это... это... деревья! И я без конца мучаюсь, ищу и часто не найду то или иное слово, для своей же речи и мысли. Это одна из страшных неприятностей в моей жизни после ранения. Эти бесконечные невспоминания того или другого слова, тех или иных мыслей, невспоминания или непонимания тех или иных понятий не дают мне возможности учиться, помнить, запоминать и осознавать.

А я после ранения не сразу улавливал смысл слов говорящего, не сразу понимал его речь и профессору приходилось неоднократно повторять свои вопросы.

Я не мог почему-то вспомнить и назвать различные предметы и вещи, на которые я смотрел непо-средственно, наглядно, хотя бы там ручка, каран-

даш, тумбочка и шкаф, книга и этажерка, пол и потолок, рама и форточка...

Иногда я начну говорить, застряну на каком-нибудь слове, никак не вспомню его за целый час и даже за весь день не смогу вспомнить нужное слово. И наоборот, когда мне говорит хотя бы мать, что-то сделать, что-то принести из сарая или, наоборот, отнести в сарай или еще что-нибудь сделать, сходить в магазин, на базар — по-прежнему до меня не сразу доходит это дело, так как я долго думаю над одним словом (или двумя-тремя), забывая про другие слова...

Сами слова частью утрачивали свое значение, частью имеют неполное, неоформленное значение. Это больше относится к предметному характеру (стол, солнце, ветер, небо и т. д.). Я утратил и слова, и значения, я их не мыслю и не представляю в полном смысле слова главным образом из периода учебы...

Да, в результате травмы черепа и мозга у меня сразу разошлись зрительная и слуховая память: в одном случае вижу букву или цифру, но не в силах сразу назвать их, в другом случае, я слышу какую-нибудь букву или цифру, но не в силах сразу представить образом их очертания. Об этом же самом я говорил, что таким же путем происходило у меня и с речью и воспоминанием: я вижу предмет какой-нибудь, какую-нибудь вещь, какое-нибудь явление и т. д., но не могу сразу произнести, назвать его, подчас и не вспомню за весь день, и наоборот — я слышу слово какое-нибудь, но не сразу представляю его образ, очертания, значение долго не вспоминаю».

В первые месяцы после ранения такое «невспоминание слов» было особенно мучительно. Забыты оказались самые простые слова, и их значения нужно было мучительно искать, перебирая и нащупывая, как нащупывает вещи человек, пробирающийся по незнакомой комнате в темноте. Слова не только не вспоминались; они начинали звучать чуждо, и часто ему приходилось делать мучительные попытки, чтобы вспомнить, что же они значат? И на это уходили долгие-долгие минуты, заполненные судорожными поисками.

«Иногда я слышу слово, «о не сразу пойму его значение. В первые годы ранения я подолгу не мог вспомнить из памяти данное слово, видя перед глазами нужный предмет, а заодно я также не мог

вспомнить сразу образ предмета, когда мне называли какое-нибудь слово...

Профессор говорит мне: «Покажи-ка мне, Лева, свой глаз?» Я не понял вопроса, а это со мной случилось и случается после ранения без конца, так как я не сразу схватываю смысл слов говорящего и не сразу уделяю внимание говорящему. После же повторений вопроса я долго ищу и вспоминаю, а что же такое за слово «глаз»... Я оглядываюсь кругом и вдруг вспоминаю, что слово «глаз» находится где-то в моем же теле. «Глаз!» — говорю я, вспомнив, наконец, значение этого слова, и показываю на свой глаз. Тогда профессор говорит мне: «Покажи свой нос!» И я опять думаю: «А что же это такое нос?». «Нос, нос...», — твержу я... наконец и слово «нос» вспоминается через минуты. Потом профессор просит вспомнить слово «ухо». И опять минуты ожидания... Но вот я вспомнил и слово «ухо». Когда же профессор снова начал просить, чтобы я вспомнил, что же такое «глаз», я опять забыл, что же такое слово «глаз», и снова начал вспоминать про него, а что же это такое... Мучительное это дело...

Мне приходят на память разные слова, я даже шепчу в полуслух их, т. е. слова, которыми в этот день общался, говорил ими, но все же это не те слова. Наконец я вспоминаю искомое слово — глаз, нос, ухо.

Но меня снова спрашивают: «А это что? А это что?» — показывая на глаз или на ухо, или на нос. И я опять думаю, вспоминаю что-то, наконец вспомнил, ура! Такая задержка в памяти слов бесконечна.

Но еще страшнее являлось для меня самого, когда я вдруг вспомнил или услышал от кого-нибудь слово «спина» или «шея» и ряд других слов, которые я вовсе никак не мог вспомнить, т. е. попросту забыл их значение, хотя знал, что они существуют как знакомые слова, относящиеся как-то к телу человека, но как они относятся, я не знал. А в общем в каждом слове происходит какая-то ненормальная забывчивость, какая-то замедленность и невспоминание любого слова. Я не могу сразу вспомнить данное слово или наоборот данное значение слова. Вот профессор показывает мне на лампочку и говорит: «Что это такое?» — и я начинаю вспоминать: «...Это, как ее.., ну, это... как его...». — И я некоторое время не могу вспомнить название данного предмета. И гляжу то на лампочку, то на другие предметы, стоящие передо мной в комнате. Я без конца ищу какой-то

поддержки в предметах, какой-то опоры в предметах, стараюсь вспомнить их слова, начинаю сравнивать предметы в данной комнате, служащие мне опорой речи и памяти слова».

И это оставалось угнетающе долго, много месяцев после того, как он выписался из госпиталя.

Вот он дома, в своей Казановке. Он живет с матерью, с сестрами. Он должен что-то делать по хозяйству, его посылают принести что-нибудь из погреба, сходить е магазин за хлебам, за крупой. Ну, казалось бы, что может быть проще? А на самом деле, как это бесконечно трудно: самые простые слова, которые были для него обычны с самого детства, которые воспринимались им сразу, без малейшего усилия, которые схватывают на лету — эти слова доходили до него не сразу, как будто из какого-то далекого мира, и он должен был напряженно думать о них, прежде чем они начинали приобретать ясность.

И даже если он наконец усвоит их значение, слова удерживаются у него минуту, другую, а потом исчезают, и снова он растерян, снова беспомощно стоит перед новыми трудностями.

И так в самом простом, самом обыденном, самом каждодневном...

«Вот дома мне мать скажет хотя бы так: «Поди и сходи в наш сарай, слазь там в погреб, набери там из кадки соленых огурцов в тарелку, а кадку обратно прикрой кружком, а сверху положи камень...». Я не сразу понял, что мне мать сказала, я прошу повторить, что она сказала. Мать повторила свои слова. Теперь я услышал слова: «сарай», «погреб», «огурцы», а все остальные слова я мигом забыл. Но и эти три слова — сарай, погреб, огурцы — я по раздельности и по очередности спешу осознать, что они значат. Наконец, я понял эти, три слова (уж прошли минуты!), теперь мне надо спросить у матери, что она там просила сделать. Я оглянулся — матери нет дома. И вдруг она снова входит в квартиру, и я увидел, что она успела уже сходить в сарай, слазить в погреб и вот принесла огурцы вместо меня...

Мать мне говорит: «Нарежь-ка, сыночек, к обеду хлеба, огурчиков, ветчинки, принеси заодно сольцы, что помельче». Я, конечно, прослушал, что мать мне сказала. Я прошу ее повторить. Она повторила сначала, о чем она хотела просить. Я запомнил только два слова — «хлеб» да «ветчина». Я думаю, во-

жусь над этими словами, наконец, понял эти слова, а забыл, что мне еще говорила мать, стою нереши-тельно...

Вот мать сказала: «Отнеси-ка ведро с очистками козе, ведро обратно принеси-ка!». Держу ведро в своей руке, иду в сарай... Там высыпаю очистки для козы своей... Сарай же закрывать забываю и про ведро забыл совсем... «А где же ведро? Запер сарай-то?» — мать меня спрашивает вдруг.

Пришлось вернуться вновь к сараю, ведро увидел — взял его тут. «Ну, а сарай ты запер или не запер, ты скажи?» Пришлось вернуться снова все же к сараю, черт его возьми!... И верно — я сарай не запер, он приоткрылся и... коза сумела удрать со двора... Вот память какая — проклятье!..».

Что же это такое? Мир его слов распался, он начал жить в мире чуждых, незнакомых слов, которые было так трудно вспомнить и значение которых было так трудно понять. И это относилось не только к обычным бытовым словам; в еще неизмеримо большей степени это относилось к тем понятиям, которые его учили, с которыми он годами свыкся в жизни, в школе, в институте.

И он живет в мире чужих слов и в мире забытых понятий, делая мучительные попытки вспомнить их, постоянно борясь за восстановление своей «речи-памяти».

«Я просто чувствую знакомство каждого слова (раньше учился на четвертом курсе института), я знаю, что любое данное «слово» существует в моей памяти, но только это слово уже утратило свое значение, и это каждое слово уже не понимается мною, как оно понималось раньше, до ранения. Это значит, что если я услышал слово «стол», то я не сразу пойму, что это данное слово значит, откуда оно, из какой области... Только одно чувство знакомости и ничего больше...

Я обхожусь теми словами, которые имеют и «чувство» знакомости и, главное, чувство известного мне смысла, и только этими словами я общаюсь и с самим собой, и с людьми...

С некоторого времени, конечно, уже после ранения, я начал вести и веду борьбу за восстановление памяти и речи, слова и значения, так как я без конца тренируюсь в этих вещах, так как имею в них огромный недостаток, именно: в моей речи и памяти произошел разрыв между «словом» и его «значением».

Но память слова и его значение словно отделены друг от друга каким-то неопределенным временем, и всегда почти разобщены друг от друга, а при вспоминаниях их приходится словно соединять. Но эти памятные соединения не держатся долго, а быстро распадаются и улетучиваются...

Часто я подхожу к этим вещам, стократно их пересматриваю, перечитывая, понимая, вспоминая, а все-таки все равно их приходится вспоминать подолгу.

Я иногда выхожу в поле, в лесок и пробую вспоминать, а что же у меня осталось из памяти. В лесу я забыл совсем деревья, как они называются. Правда, я помню названия «дуб», «сосна», «осина», «клен», «липа», «береза» и другие (когда они вспоминаются иногда), но когда смотрю на дерево, то я не знаю, забыл от ранения, то ли это осина передо мной, то ли это еще какое дерево не знаю, хотя вообще-то само дерево кажется знакомым мне. Когда мне покажут грибы, то я тоже не знаю, как его название и его назначение, хотя я помню названия грибов: «подосинник», «белый», «опенок» и только, а что этот гриб — «опенок» или там «подосинник» и тому подобный, я еще не знаю, хотя до ранения знал эти грибы и не мог не знать.

И даже я забыл про одуванчик, про цвет, который я знал и в детстве; правда, я вспомнил про одуванчик, когда он делается седым, а вот, какой он должен быть до седины, я просто забыл и не мог себе представить, забыл совсем...

С одной стороны, по старой привычке я вижу окружающий мир таким же, каким я его видел своими глазами. А с другой стороны, я не узнаю его и не понимаю, когда соприкасаюсь с действительностью. Я не понимаю, как живут растения, чем живут, почему они развиваются одним срезанным листком. Я не понимаю окружающего, сути жизни растений, животных, почему я не могу вспомнить из головы в нужное время слово или его значения.

С одной стороны, я помню, что я учился в начальной, в средней школе, в механическом институте. А с другой стороны, я забыл и не помню совсем, чему я учился, каким наукам, что делал там в учении, все забыл и ничего не помню абсолютно и не моту что-либо вновь запомнить.

С одной стороны, я сам все же говорю, мыслю, пишу, а с другой стороны, когда мне чего-нибудь го-ворят, то я не успеваю понимать и запоминать слов

86

говорящего. С одной стороны, я вижу, слышу, ощущаю, говорю, а с другой стороны я без конца ощущаю тяжесть своего пораженного мозга...».

Но он не только забыл значения слов (мы уже говорили о том, что он не может сразу припомнить то слово, ко-торое нужно), он мучительно ищет его, и часто вместо нужного ему слова приходят другие, иногда близкие, иногда далекие. Ему нужно одно слово, а в памяти их целый рой, из которого следует выбрать необходимое. Как это сделать? Все они так похожи, все они кажутся нужными, а на самом деле нужного слова нет, оно где-то затерялось среди этого роя слов.

В чем же дело? Почему стало так трудно припомнить нужное слово, то, что легко происходит уже у школьника и что стало недоступным ему?

87

Как вспоминаются слова

(ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ)

Раньше все казалось очень просто: каждая вещь имеет свое название, и слово наклеено на нее, как ярлык. Как на кухонной полке у хорошей хозяйки: на каждой банке четкая надпись: «сода», «перец», «соль», «крупа». Надо только подойти и взять нужную банку. Так думали раньше, так думают многие и сейчас.

Как это далеко от истины! Даже Свифт в своих путешествиях Гулливера, попавшего в страну Лапуту, высмеи-вал этих простецов. Они даже решили, что слова совсем не нужны: не проще ли выкинуть ярлыки и просто объясняться вещами? И носили с собою за спиной мешки — вынут нужную вещь и покажут.

Так ли это? Почему же иногда так трудно найти нужное слово? Почему поиски нужного слова могут стать таки-ми же трудными, как поиски утерянных воспоминаний?

Вещь не проста. Она имеет много свойств. Биллиард похож на стол; его сукно похоже на зеленое поле; под ним — грифельная доска, в каждом углу и посредине — сетки... и по нему катятся шары, а стоит он посередине комнаты... А как найти нужное слово — «биллиард»? Не стол, не сукно, не поле, не сетки, не шары, а «биллиард»... И шары

87

складываются пирамидкой... «Пирамидка»? А не «кучкам? Не «гнездо»? Не «тройка»?

Как из множества свойств выделить нужное, задержать всплывающие посторонние ассоциации, из тысячи связей выделить одну, только одну, нужную?

Припоминание слова — всегда выбор из многих возможностей, из многих альтернатив. В одних случаях нужная связь всплывает с большей вероятностью, появление других — почти совсем невероятно. «Наступила зима, и на улице выпал... Ну, конечно, снег!» Вряд ли у кого возникнет другое слово... Здесь есть еще только две-три возможности, выбор еще прост. Ну, а в других случаях дело обстоит гораздо сложнее... «Я вышел на улицу, чтобы купить...». Что именно?

Хлеба? Газету? Шляпу?... Возможностей — тысячи, и найти нужное слово можно только, зная всю ситуацию. Здесь вероятность появления нужного слова неопределенна и только контекст подскажет, что следует выбрать из хранилища своей памяти...

А как сделать, если контекста совсем нет? Если человек должен просто найти нужное название?

Это вовсе не так просто, как кажется.

Вы входите в лабораторию и видите прибор. Вы знаете его назначение: он режет залитые в парафин кусочки препаратов на тончайшие срезы, ну так, как в хороших гастрономических магазинах режут ветчину, только в тысячи раз тоньше. Как назвать его? Вы знали это, вы роетесь в своей памяти... Что-то «микро...» «Микро-скоп»? «Мани-пулятор»? «Микро-рез»? Нет, не то... Ах вот, «микро-том»!

Вы идете в музей и хотите вспомнить фамилию грузинского художника, одного из основателей школы примитивистов... «Пассанаур»? Нет... «Пиро-стон»? Нет... «Прангишвили»? Нет, тоже нет... Там что-то напоминало «огонь»... «Пи-ро-техник»? Нет... что-то про турков... «Осман»?... Но — ах вот оно: «Пиросман»!, конечно, «Пиросманишвили»! Наконец, слово найдено и все остальные «слова-попутчики» исчезают.

Такие мучительные поиски у каждого из нас редки, мы ищем так только в тех случаях, когда слово у нас слабо закреплено или когда мы пытаемся найти нужную, но не очень прочно осевшую фамилию, ну вроде чеховского «Овсо-ва», в которой что-то «лошадиное» может напомнить и «Коняшина», и «Оглоблева», и «Ямщикова»... В припоминании названий обычных предметов этого, как правило, не случается, названия очень прочно запечатлены, основной признак вещи, который и отражается в названии, выступает достаточно отчетливо. Ведь в слове «стол» с его корне

«стл» — настилать, постилать, настил — этот ведущий признак очень отчетливо выделяется из остальных, а в слове «часы», в слове «паро-ход», «паро-воз» — он настолько ясно выступает, что название сразу всплывает с полной вероятностью и не нужно применять каких-нибудь усилий, чтобы выбрать его из тысячи возможных, сама вещь, с ее четким восприятием обеспечивает этот выбор.

А если мозг поврежден?... Если повреждены те его отделы, которые обеспечивают анализ и синтез зрительно — воспринимаемых предметов, выделяют существенные признаки, тормозят всплывание побочных ассоциаций?... Что тогда?

И. П. Павлов, этот великий знаток тех законов, по которым работает кора головного мозга, говорил, что в нор-мальных условиях она подчиняется «закону силы»: сильные и существенные раздражители вызывают сильную реакцию, их следы прочнее удерживаются и легче всплывают, и только в состоянии истощения или сна действие этого закона нарушается: как сильные, так и слабые раздражения уравниваются, ответы на них становятся одинаковыми, они одинаково удерживаются и их следы начинают всплывать с равной вероятностью...

Вспомните, какие странные ассоциации неожиданно приходят в голову, когда мы засыпаем, какая путаница возникает в это время в наших мыслях и как беспокоящие нас в таком состоянии вещи при полном пробуждении оказываются пустяками.

Патологический процесс вызывает в коре такое состояние, которое И. П. Павлов назвал «тормозным», или «фазовым». Работа пораженной коры теряет свою четкость, существенное начинает плохо отделяться от несущественного, признаки, которые явно выделялись из остальных, доминировали, перестают выступать, «уравниваются» с побочными, мало существенными, и выбор нужного признака и, конечно, нужного слова, из числа всех возможных,

которые теперь стали равновероятными, становится страшно затрудненным...

Осколок, проникший в мозг, нарушил нормальную работу тех отделов коры, которые непосредственно связаны с анализом и синтезом сложных связей, с их организацией в определенные системы, с выделением нужных признаков воспринимаемых вещей, с систематизацией и хранением следов речевого опыта. Часть нервных клеток разрушена, часть находится в патологическом, «фазовом» состоянии. Нужно ли Удивляться, что выбор нужного признака, а поэтому и нужного слова становится у него таким трудным, а иногда и вовсе недоступным?..

И он начинает мучительно искать нужное слово, перебирая десятки других, «слов-попутчиков», делая это так, как

89

делаем мы, когда ищем забытую фамилию. Он пытается найти тот класс, к которому относится это слово, заменяя его слишком общим названием: «Ну, это... ну, как его... эта вещь... эта штука... это животное...». Он пытается нащупать какой-то контекст — может быть это поможет найти ему нужное слово... «Ну вот... они так хорошо пахнут... Эти красивые, красные, душистые... розы!!».

Он пытается вызвать «автоматически» то, что не получается произвольно, и иногда, только иногда, это удается ему.

К каким только приемам он ни прибегает в этом мире нарушенной вероятности... И как отличается этот процесс припоминания слов-названий от всплывания наглядных образов, где выбор из таких равно вероятных альтернатив не нужен... Как отличается нарушенная «речь-память» от полностью сохраненной памяти событий.

«Я пробую вспомнить: «Это... столетник, это... фикус, это... рождественник, а это...» и я не мог вспомнить несколько банок с цветами, которые держит моя мать для красоты окон.

А вот сейчас я никак не вспомню, как называется такая погода?.. облака... тучи... ветер... Я пробую называть разную погоду: «Дождь, вихрь, солнце...», а вот нужное слово я все еще никак не могу вспомнить.

Отчего и почему происходит такая задержка в моей голове — я, конечно, не знаю. Но эти задержки и невспоминания всюду мне мешают помнить, говорить, понимать, осознавать, произносить речь в самых обычных условиях в своей семье, и я из-за них всюду страдаю в любой час, в любую минуту...

Но ведь часто я вспоминаю что-нибудь общее из слов и мыслей, а вот что-нибудь определенного не могу вспомнить.

И мне приходится все время опираться на общие слова, которые могут заменяться, не очень редко изменяя смысл заменяемого слова...

Когда я часто покупаю один и тот же продукт, то я часто начинаю его произносить, чаще его вспоминаю и уже почти всегда могу назвать это слово. А когда я реже покупаю тот или иной продукт, то я его ни за что не вспомню и вынужден пользоваться показом «а витрину: «Дайте мне... вот... эту... вещь!» И так до сих пор все это...

90

Все слова (по моим наблюдениям!) можно разделить на три рода: 1. Одни слова, хотя и медленно, но вспоминаются (снег, солнце, лес, трава, кошка, птица, человек и т. д.). 2. Другие слова, как, например, спина, шея, пихта, сосна, зяблик, ландыш и т. д., вспоминаются не до конца, а в пределах определенной области. Так, например, я уже вспомнил слово «спина», и я уже понимаю,

что это слово является частью общего значения слова «человек», т. е. «спина» является частью человека, но какой частью, и где она расположена — я не знаю. 3. Третий род слов, как, например, химия, экстракт, кредит, экспедиция, тригонометрия, алгебра и т. д., вовсе потеряли свое значение, и от этих слов остались только одно чувство знакомости, что когда-то (перед ранением) я знал их значения очень хорошо.

В итоге выходит, что я «забыл» в результате ранения очень многое, забыл все, чему учился без перерыва ровно четырнадцать лет».

И так продолжается много лет: борьба за каждое слово, которое не в силах найти пораженный мозг, у которого так сужен объем, необходимый ему, чтобы удержать целые системы, в которые прочно уложились бы слова, системы, которые так помогают без труда найти нужное слово... Поэтому-то и возникают такие трудности: вот появилось нужное слово, но мысль перебегает к другому, а первое уже исчезло, и его нужно снова искать. Это не только суженная, обедненная, это потерянная память, и с годами это не исчезает.

«Моя голова была словно под каким-то тяжелым замком: с трудом откроешь одно слово, потом долго ищешь другое слово целыми минутами, а то и часами. И пока ищешь новое слово из памяти для своей мысли, первое слово, держащееся в памяти, быстро забывается, а часто и мысль, держащаяся в голове тоже вдруг исчезает куда-то из памяти...

И вот до сих пор — более 20 лет — я все еще никак не могу сразу вспомнить названия. Уж давно бы, кажется, пора было бы заучить за эти годы слова, которые тысячу раз повторялись... А я все не могу сделать это».

91

В частоколе нерасшифрованных слов и не воплощенных мыслей

Но ведь речь только начинается отдельными словами; слова складываются в фразы, фразы в целые отрывки, в повествования, передачу сложной мысли. А как связать ее, эту общую мысль, если для понимания каждого слова нужно время, если смысл его приходит не сразу, если только что понятое слово тут же забывается, как только он переходит ко второму, если мысль тоже вдруг исчезает куда-то из памяти.

И слушая то, что ему говорят, включив радиопередачу, пытаясь разобраться в содержании целого рассказа, он оказывается в частоколе отдельных образов, несвязанных друг с другом, разбитых на куски, требующих расшифровки и так и остающихся нерасшифрованными...

«Когда я слушаю хотя бы короткую речь даже своей матери, я не успеваю схватить и понять в речи что-то главное. Я хватаюсь за первое или за последнее слово и пробую осознать это слово, забывая про все остальные слова...

Вот я сижу в зале, слушаю рассказы и постановки приезжих артистов. Вот рассказчик рассказывает что-то, все смеются чему-то. Я тоже смеюсь, глядя, что все смеются, хотя я совсем ничего не понял, что говорил рассказчик, я только тогда искренне засмеялся, когда артист закачался и упал, представляя себя пьяным. А так я не в силах в речах людей схватить сразу то, что они говорят, и не в силах упомнить то, что они говорили в речи словесной...

Когда мне говорят что-нибудь люди или же, например, я слушаю радио, то я большей частью слышу и слушаю разговор, говор людей, радио, но не все могу понять из этих разговоров и не понимаю больше половины. Я большей частью слышу слова, которые представляют собою тоже «белые пятна». Это значит, что из речи людей я успеваю схватывать только несколько слов, и подолгу начинаю осознавать значения этих слов, а как только я осознаю значения одного, двух, трех слов, остальные слова исчезают бесследно в потоках речи.

Вот, например, я слышу слово «катастрофа», и я начинаю переспрашивать человека, затем начинаю думать, что же означает это слово «катастрофа», и я

92

думаю над этим словом, думаю... и вдруг я вспоминаю значение этого слова, а именно — поезд свалился под откос. А пока я вспоминал значение слова «катастрофа», прошло тоже определенное время.

Это стало обычным явлением в моей поврежденной памяти...

Когда я слушаю радиопередачу, мне кажется, что я понимаю, что говорится в передаче, только все бы-стро забывается из передачи прямо на ходу. Но когда станешь обращать внимание на переданное слово, то оказывается, что я не припомню назначение данного слова или долго вспоминаю, что оно значит, или вовсе забыл (или начинаю забывать) назначение данного слова. Конечно, слушать радиопередачу легче и покойнее, нежели читать книгу по буквам, по слогам с раздраженным зрением. Зато при слушании радио я не в силах остановить его, чтобы подумать о том, о сем. И от слушания радиопередачи после ранения у меня ничего не остается в памяти. При чтении же газеты, книги я могу остановиться, перечитывать те или другие слова, фразы, понятия. И от чтения тоже быстро все забывается, но все же что-то важное и общее из прочитанного некоторое время удерживается в памяти лучше, чем при слушании радиопередачи. Но зато само чтение становится все мучительнее для меня год от года».

Вот ему несколько раз читается отрывок, в котором нарочно нагромождены сложные соотношения вещей: «Справа и слева от дома росли высокие деревья редкого вида с большими плодами, скрытыми под листьями и похожими на еловые шишки. Повсюду были развешаны фонарики, изготовленные из цветной бумаги в виде веселых рожиц со ртами до ушей, отражающиеся в пруду, по которому плавали четыре белых лебедя».

Что у него остается после первого, второго, третьего чтения?

Частокол слов и образов, разорванные куски фраз. Что-то про деревья, что-то про лебедей, что-то про зеркало. Отрывок читается снова и снова, а разобщенные куски не выстраиваются в стройную систему, отрывок так и не превращается в стройное целое, над отрывком приходится вести упорную работу, как будто перед ним лежит клинопись, значение каждого элемента которой, подумав, можно установить, но весь текст остается неясным и требует длительной расшифровки.

93

«Нет... не уловлю ничего... тут что-то говорится о том... Это... сейчас... трудно сказать... про фонарики... и про лебедя в пруду... и слева и справа... вроде леса... лебеди... и фонарики...

Тут... слева и справа... имеются... эти... деревья... и плоды... и еще фонарики... и плавающие лебеди... и дом... и возле этого дома... фруктовые деревья... они напоминают еловые шишки... и еще... фонарики... и еще пруд... и плавающие лебеди... и около них рожицы... ну... фонарики... а между фонариков... цветные бумажки... нет не пойму!».

Это действительно частокол нерасшифрованных образов. Он пытается посещать кружки, он пробует учиться. Но и тут перед ним возникают непреодолимые трудности.

«Я слушаю речь учительницы, и мне кажутся понятны ее слова, вернее, они мне кажутся знакомыми, но когда начинаешь вслушиваться в каждое слово и даже останавливаться на отдельном слове, то я не припомню смысл слова, его образ... А речь идет, слова бегут, бегут и исчезают куда-то на ходу из памяти, и их не припомнишь ни за что. А вот О. П. подходит ко мне и спрашивает, что мы делали на прошлом занятии. Я долго молчу. Несколько дней я читал эту главу, кое-что записал наиболее важное из этой главы и вчера прочитал свою запись по этой главе. А вот сейчас надо бы пробежать глазами свою запись, а вот прочесть свои слова, свое же

написанное мне очень тяжело (а чужой почерк и вовсе плохо понимаю), так как я читаю буквы очень медленно и уж, конечно, пробежать свою же запись мне невозможно, тем более, что руководитель кружка спрашивает и ждет от меня ответа. Наконец, я вспомнил что-то из вчерашнего и начал говорить что-то общее несколькими словами. Но мысль я так и не мог передать».

И конечно, все это не ограничивается трудностями понимания. Ему тяжело, нет, просто невозможно, не только расшифровать плавно текущую речь докладчика и за потоком фраз увидеть их логический смысл; ему не только тяжело слушать чужую связную речь, он неспособен и сам сформулировать мысль, дать связное высказывание. Всплывают отрывочные слова, они роятся как пчелы, перебивают и тормозят друг друга, они забываются на ходу и мысль не превращается в речь, то, что он хочет передать, остается невысказанным.

94

И он не может пойти в учреждение, сформулировать просьбу, не может выступить па кружке, задать вопрос, рассказать хотя бы совсем кратко то, что ему так хочется передать.

«Когда я пытаюсь обращаться в какое-нибудь учреждение по какому-нибудь вопросу, то я целый день только и думаю, что и как я это скажу. Я долго боюсь заходить в кабинет из боязни, что не вспомню нужное слово, или пару, или тройку слов для беседы, так как слова, нужные для моей мысли, быстро, на ходу забываются, и я жду нужных слов, которые то появятся, то исчезнут...

А пока я перебирал слова, нужные для моей речи, еще в коридоре, в комнате же начальника я забывал все эти слова. Начальник смотрит на меня и спрашивает: «Что тебе нужно?» А я, как нарочно, не могу припомнить, что я хотел говорить, все слова разбежались из памяти. И с головой что-то стало нехорошо — ничего не вспомню...

Я пришел в клуб. Слушаю лекцию. По окончании лектор просит задавать вопросы. Я тоже решаюсь задать вопрос. В это время я чувствовал себя более нормальным, то есть голова болела и шумела слабее. Лектор просит меня назвать вопрос. Я слышу это, но почему-то не могу говорить, не могу сказать ни одного слова, ни одной буквы и моя речь словно захлопнулась, закрылась на какой-то непонятный ключ. Весь зал смотрит на меня, ждет, что я скажу... и я почему-то не могу ни только говорить, но и не могу произнести ни одного звука, хотя я в этот раз не был взволнован, был спокоен. Видя, что я или забыл, что нужно говорить, или, подумав, что я полупьян, соседи по стульям сказали: «Ну, садись тогда». И я сел на стул. Но лектор, видя, что никто ничего не говорит, снова сказал мне: «Ну, какой вопрос вы хотели задать?».

То же происходит тогда, когда он сам, наедине с собой, когда ему нужно написать то, что он задумал... Но здесь легче, и труднее: легче потому, что то, что он написал на бумаге, остается и к нему можно снова возвратиться; труд-нее потому, что пока он это делает, мысль исчезает, и он снова должен искать ее.

«Вот пришла в голову мысль, образ, я начинаю вспоминать слова для этой мысли; вот я уже начинаю

95

писать слова — одно, другое и... вдруг я забыл свою мысль, которая только-то теплилась, забыл, что я хотел дальше писать; я смотрю на написанные уже два слова, но не вспомню, какую же мысль я хотел вложить в эти слова, которые только что начал писать. И моя мысль пропала, сколько бы я не пытался ее вспомнить.

Вот возникает мысль, хорошая мысль, я начинаю брать в руки карандаш и... мысль уже пропала, исчезла из моей памяти, и она уже не вернется в этот день, а может быть и на следующий день, а если даже и вернется в какой-нибудь день, то я ее уж не узнаю, и она уже потеряет для меня смысл, потому что я уже пишу дальше другие мысли и слова».

Какой же титанический труд он должен был потратить, чтобы все-таки, несмотря ни на что, написать свою повесть, описать то, что с ним произошло...

Значит он живет не только в частоколе нерасшифрованных образов; он живет в мире невоплощенных мыслей, в мире невысказанных слов.

96

В мире грамматических форм

(ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ)

Ему было трудно понять речь товарищей, смысл рассказа, содержание доклада. Еще труднее было разобраться в мысли, излагаемой в тексте.

В этом ему мешало трудное узнавание слов, то, что значение слова исчезало из памяти, как только он переходил к другому; понимание затруднялось тем, что слова говорящего так быстро сменялись одно другим, что он не успевал схватить скрывающийся за ним смысл, что ему не хватало времени на это.

Но только ли в этом были трудности, делавшие понимание речи таким мучительным?

Нет, вероятно, далеко не только в этом...

Мы уже говорили, что одно из основных затруднений в понимании развернутой речи заключалось в том, что он не мог сразу схватить ее содержание, обозреть все, что было в высказывании, как единое целое, уложить его в одну схему,

96

выделив основной смысл. А ведь именно это делаем мы, схватывая содержание рассказа!

Сначала это делается не сразу и требует большой работы. Вспомним, как трудится школьник, а потом студент над усвоением сложного текста! Постепенно этот длительный процесс свертывается, вырабатываются навыки быстрого понимания, и под конец — как быстро, казалось бы сразу, без всякой видимой работы — мы начинаем схватывать содержание доклада или мысль текста.

Но не всяким изложением овладеть легко. Путь от развернутой речи к лежащей за нею мысли может быть слож-ным, извилистым, полным неразличимых сразу препятствий. Хорошо, если рассказ течет просто и плавно, если он состоит из простых фраз, последовательно, шаг за шагом развивающих повествование: стояла теплая погода, он подошел к озеру, сел в лодку, взял весла, как приятно плыть к дальнему берегу... Ну, а если изложение извилисто, если фразы сложны, если к основному, главному предложению присоединено придаточное, если мысль должна все время возвращаться к пройденному, сличать продолжение с началом, все время удерживая единую нить, которая то исчезает, то появляется снова?

Языковеды хорошо знают карту этих препятствий и располагают надежными лоциями в этом извилистом плавании. Они различают «дистантные предложения», где мысль прерывается отступлениями, и противопоставляют их «контактным», текущим плавно, без таких отступлений. «Гора, на которой стоял старый дом с красной, черепичной крышей, была высока и покрыта серым мхом...». Кто? Гора? Крыша? И как серый мох относится к красной черепице?.. Нет, в этом «дистантном» предложении, где подлежащее «Гора» отделено целым десятком слов придаточного предложения от сказуемого «была высока» — в нем еще надо разобраться, понять его не так легко.

И еще труднее странные речевые фигуры, которые называют «инверсиями». Так ли легко можно схватить смысл фразы: «Не опоздай я на поезд — я не встретил бы вас...». Опоздал он на поезд или нет? Встретил он его или не встретил?.. или: «Я не привык не подчиняться правилам». Кто сказал это? Строптивый бунтарь или послушный ученик? «Не привык!» «Не подчиняться!» Казалось бы, все так резко, так вызывающе! А теперь подумайте, и смысл окажется обратным. Все это шутки грамматических инверсий! А те случаи, когда порядок слов не совпадает с порядком мыслей? «Я прочитал газету; потом позавтракал...». Все просто... А попытайтесь сказать это по-другому, в одной фразе: «Я позавтракал, после того как прочитал газету...». Не правда ли, как затрудняет понимание этот оборот, где последовательность слов расходится с последовательностью событий и где

97

связка «после того как» заставляет все перевертывать? Грамматические «инверсии», эти формулы-перевертыши, снова сыграли свою плохую шутку.

А сложные падежные окончания, создающие прочную и строго расчлененную связь между предметами, подчиняющие один образ другому и образующие скелет логической системы? Мы уже привыкли к ним и быстро схватываем их значение. Но так ли это легко? «На ветке дерева гнездо птицы». Это не просто перечисление: вот ветка, вот дерево, вот гнездо, вот птица! Здесь все выстроено в строгий порядок, и эти пять слов создают один образ с четко соотнесенными друг с другом частями. А те более сложные падежные окончания, которые выражают отвлеченные отношения вещей? «Кусок хлеба» — это просто. А «брат отца»? Это ни то, и ни другое, не «брат» и не «отец»; это нечто третье — дядя, о котором в этом выражении не было никакой речи. А «отец брата»? Ну это, конечно, ставит каждого в тупик: простите, да ведь это тот же отец? Отец моего брата — он и мне приходится отцом! Для того, чтобы понять эти сложные отношения, в которых слово, стоящее в родительном падеже, выражает вовсе не предмет, а его качество, свойство. Брат отца — это отцовский брат. Нужно проделать целую сложную работу: отвлечься от наглядного значения слова «брат», мысленно изменить порядок слов (ведь прилагательное, обозначающее свойства, всегда стоит в русском, языке не на последнем, а на первом месте), — только после этого загадка «атрибутивного родительного» проясняется.

И только для нас, усвоивших логические узоры языка и стоящих на плечах многовековой культуры, этот процесс рас-шифровки такой конструкции протекает свернуто, мало заметно, просто. А ведь еще в записях 15—16-го века люди не писали «дети бояр», а использовали гораздо более простую форму «бояре — дети», и вместо «земли Прокопия» обязательно использовали более развернутую и неуклюжую форму «этого Прокопия — его земля», давая этими вставками внешние ориентиры, помогающие обойти трудности такой сложной грамматической структуры... И вместо «убояшеся силы рати (войска) Ахейцев» было написано: «убояшеся силы и рати ахейской».

Нет, сложные обороты речи, которые вошли в наш быт и которыми мы пользуемся, не замечая их сложности, — это коды, созданные многими столетиями, и мы легко применяем их только потому, что полностью овладели той сложнейшей оркестровкой языка, который стал основным средством нашего общения.

А целая семья других средств выразить отношения — предлоги, союзы: под, над, справа, слева, вместе, несмотря на, вследствие... Мы так привыкли к ним, что применяем их,

98

не задумываясь. «Корзинка под столом», «крест над кругом», «книга справа от ручки»... А ведь всего двести лет назад связь этих частиц с вещественными словами, обозначавшими предметы, выступала с полной отчетливостью: недаром в это время «под» означал еще конкретный «низ» («под» печи), а слова «справа», «слева», «спереди», «сзади», «вместо» -писались иначе — «с права», «с лева», «с переди», «с зади», «в место», так что их конкретное значение «правое», «левое», «перед», «зад», «место» выступали с совершенной прозрачностью.

А сравнительные формы: «Слон больше мухи» или «муха больше слона»? Это мы схватываем сразу! Ну, конечно же, вторая неправильна! «Весна перед летом» или «лето перед весной»? И это ясно. А вот: «Солнце освещается землей» или «Земля освещается солнцем»? Об этом еще нужно подумать: ведь в русском языке активный член предложения всегда стоит на первом месте и логическое подлежащее обычно совпадает с грамматическим, а тут в первой фразе это правило нарушено злой шуткой логической «инверсии», которую требует конструкция страдательного залога!

Нет, язык, которым мы владеем с такой легкостью, на самом деле представляет сложнейшую систему кодов, которые сложились за долгую цепь столетий и которыми еще нужно овладеть. И это все совершенно необходимо для того, чтобы ясно понять сложное высказывание.

Падежные окончания, предлоги и союзы — все эти сложнейшие коды языка стали тончайшими и надежными инструментами для мышления; история трудилась многие столетия, чтобы дать их каждому владеющему языком человеку.

А что нужно от самого человека, чтобы успешно пользоваться ими? В основном одно: умение хранить их в памяти и способность быстро и сразу, одновременно обозревать те отношения, в которые они ставят отдельные слова и вызываемые ими образы! Одновременно? Но именно эта возможность одновременного («симультанного») обозрения сложных систем (будь то пространственное расположение предметов или мысленное сопоставление элементов) была недоступна нашему герою. Разрушенные у него отделы коры головного мозга были как раз теми мозговыми аппаратами, необходимое участие которых только и могло обеспечить возможность превращать обозреваемое в одновременно обозримое, «возможность симультанного синтеза отдельных частей в единое целое», как любят говорить неврологи.

Вот почему выведение из нормальной работы тех участков мозговой коры, о которых мы уже говорили раньше, было не только причиной нарушения ориентировки во внешнем пространстве, но вызывало и непреодолимые затруднения в операциях сложными кодами, использование которых стано-

99

вилось невозможным, если больной сразу же не мог схватить обозначаемого ими соотношения вещей, охватить своим внутренним взором всю систему связей и отношений, которые обозначены этой системой кодов.

«Брат отца»... и «отец брата»... Ну да, ясно, и там и здесь есть «брат» и там и здесь есть «отец»... Ну, а что же дальше? В каких отношениях они стоят друг к другу? Что означает каждая из этих грамматических конструкций? Нет, это трудно сказать. Как будто они одинаковы, а вместе с тем и нет. И никак не удается пробиться от поверхности слов в глубины значений. Или вот еще: «круг под квадратом» и «квадрат под кругом». И снова это странное переживание — как будто это одно и тоже, ведь все три слова есть и там и тут, — и вместе с тем, наверное, это что-то разное.

«Муха больше слона» или «Слон больше мухи»... Что же верно и что неправильно?! Нет, положительно с этим невозможно справиться...

Мы ставили с нашим больным тысячи экспериментов, переделывая на разный лад грамматические конструкции... Многие часы на протяжении многих лет были отданы тому, чтобы выяснить, какие именно коды языка стали недоступными для этого пораженного мозга и какие продолжали оставаться сохранными.

Лингвистика стала важным орудием для психологического исследования, но и сам больной оказался столь же важным орудием для познания различий в строении отдельных грамматических структур.

И снова, и снова мы приходили к выводу, ставшему под конец самоочевидным.

Есть два типа грамматических структур. Один из них остается сохранным. Это те, в которых порядок слов соответствует порядку мыслей, где сами грамматические структуры не превращаются в сложные коды, вносящие свои, новые принципы в организацию мысли. «Наступила зима. Стало холодно. Пошел снег. Замерз пруд. Дети катаются на коньках». В этом нет ничего трудного. Но и, казалось бы, более сложные отрывки остаются доступными. «Отец и мать ушли в театр, а дома осталась старая няня и дети». И это понимается без труда. Порядок мыслей и порядок слов здесь совпадают, сочетания слов рождают простую последовательность образов.

А вот другая фраза. В ней столько же слов и она такая же по длине, но разобраться в ней трудно. «В школу, где училась Дуня, с фабрики пришла работница, чтобы сделать доклад». Что это? Кто же сделал доклад? Дуня? Работница? А где училась Дуня? И кто пришел с фабрики? И куда?!

Сложная грамматическая конструкция дает совершенно однозначный ответ на все эти вопросы. Но разбитый мозг

оказывается не в состоянии объединить, синтезировать отдельные кусочки, входящие в это предложение, соотнести их друг с другом, разместить их в единое целое, сделать всю конструкцию обозримой. И она так и остается непонятной для больного, который делает мучительные усилия, чтобы разобраться в ней, усилия, которые так и остаются безуспешными... И вот еще: «На ветке дерева гнездо птицы...». Это предложение из детского букваря кажется сначала таким простым. А на самом деле — нет, это совсем не так. Все слова кажутся здесь такими отдельными — «ветка», «дерево», «птица», «гнездо»... Мы уже говорили об этом. А как разместить их, объединить в одну стройную систему?!

Лабиринт грамматики

Грамматические формы так сложны... Как их усвоить? Наш герой стоит перед новыми трудностями.

И в дневнике появляются новые записи.

Они начинаются с первых месяцев нашего знакомства, с тех дней, когда он только поступил в восстановительный госпиталь, с того времени, когда только-только начались занятия с ним. Они продолжаются на протяжении всех двадцати пяти лет, все снова и снова появляясь на страницах его повести. Эти страницы написаны с особенно острыми переживаниями. В них отражены все судорожные попытки овладеть тем, что все время ускользало от него и что оставалось по-прежнему недоступным, несмотря на все его мучительные попытки. И скоро это стало центральным для его переживаний, тем фокусом, в котором отражались все бессильные попытки его поврежденного мозга.

«Ко мне подходит профессор и спрашивает: «Скажите мне, Лева, что видите вы на этой картинке?» Я вижу картинку, на которой нарисованы женщина и маленькая девочка. Я, конечно, ответил профессору, хоть и не сразу, что это женщина, а это... девочка. Тогда профессор говорит: «Это мама, а это дочка!». Странное дело, я перестал понимать в этих двух словах настоящий смысл слов, настоящее назначение этих слов. Я, наверное, растерянно смотрел на эту картину. Тогда профессор спросил: «Что означает «мамина дочка»? Здесь один человек или два в этих словах?» Не понимал я этой картины. Я понимал, что такое «мама», что такое «дочка», а вот слова «мамина дочка» я не мог понять по-настоящему.

Профессор просил меня отвечать, как сумею. И я старался показывать два пальца, т. е. что там есть в этих двух словах и мама, и дочка. А профессор снова говорит: «А что такое «дочкина мама?». И я опять долго думая и ничего не придумывая, показывал на две фигурки, то есть, что есть там и мать, и дочка. И в словах «мамина дочка» и «дочкина мама» мне слышалось одно и то же. И я говорил часто профессору, что это одно и то же...

То же самое получалось на другой день с картинкой и понятиями такими, когда он сказал, указывая на картинку: «Это хозяин, это собака. Скажи, что значит «хозяин собаки». И я опять долго думал, что значат эти слова, и, наконец, сказал, что это тоже похоже на «мамину дочку», т. е. здесь тоже есть и «хозяин» и «собака», и опять показываю два пальца. Затем он спрашивает меня: «Покажи, где здесь «собака хозяина?». И я опять подумал, подумал и сказал, что это все равно, что «хозяин собаки» и что «собака хозяина»... я плохо понимаю эти два понятия, лишь чувствую, что эти два слова как-то тесно друг с другом связаны, но как — не понимаю совсем.

А еще: «слон больше мухи» и «муха больше слона»...

Я понимал только, что «муха» маленькая, а «слон» большой, но разобраться в этих словах и ответить на вопрос, муха меньше слона или больше, я почему-то не мог. Главная же беда была в том, что я не мог понять, к чему относится слово «меньше» (или «больше») — к мухе или к слону...

...Я, конечно, по-прежнему знаю, что такое слон и что такое муха, знаю, кто из них большой, кто из них маленький, но вот связать в словах и понять, к кому же принадлежат слова «меньше» или «больше» то ля к слону, то ли к мухе? А тут еще колебания и в разбитом мозгу, и в поле зрения. И мне приходится подолгу думать и гадать, как же мне правильно сказать об этих словах: «слон меньше мухи или больше?». До сих пор существуют мои колебания в моем мозгу, и что в этих понятиях «меньше и больше», на это я подчас бессилен ответить...

Мне кажется всегда почему-то, что муха меньше слона, это значит, что слон сам маленький, а муха - больше. Но когда я спрашивал часто больных, как правильно, то они говорят, что муха меньше слона, это слон большой, а муха маленькая. И я не раз пытался запомнить это понятие в одном направлении. Но когда со мной начинает беседовать профессор, а

он начинает говорить по-разному. То вот так: «Муха меньше слона или больше?», «Муха больше слона или меньше?» То вот так: «Слон меньше мухи или больше?» Я думаю, думаю над этими словами, путаюсь, путаюсь, разбираюсь, разбираюсь... а в голове такой колоброд происходит, и голова сильнее болит. И я волей-неволей вынужден делать теперь ошибки и без конца нахожусь в непонимании...

...Меня часто спрашивает А. Р. или О. П. так: «Нарисуй круг над крестом. Что будет внизу, что будет наверху?» И я сразу же теряюсь, не в состоянии почему-то сразу ответить, долго размышляю, думаю и не могу понять, как же будет правильно, то ли так, то ли эдак...

И я то отказываюсь отвечать, то пробую отвечать наобум, хотя сам по себе после ранения не могу почему-то понять этой вещи, где должен находиться круг — вверху или внизу. Тем более, что эти три слова можно переставить и так: «крест над кругом». Они звучат так же одинаково и похоже, но О. П. говорит, что «круг над крестом» и «крест над кругом» — вещи разные.

О. П. мне все время объясняет, что слово «над» — это значит «выше», а слово «под» — значит «ниже». Но в словах «круг над крестом» я никак не могу понять, к чему относится слово «над» — к кругу или к кресту. Тогда она мне так говорит: «Что значит: круг над крестом?» Над этим понятием тоже приходится думать, размышлять и все равно не приходить ни к чему. Не могу я почему-то понять эти вещи, только могу напутать и ничего больше, потому что смысл этих вещей до меня никак не доходит...

...Я уже начал запоминать и осознавать значения слов «ниже» и «выше». «Лампочка выше кровати» или «кровать ниже лампочки». Но все равно почему-то в голове моей происходит какая-то путаница и не-разбериха даже и здесь: то отвечаешь правильно, то неправильно. А вот тут в словах «над» и «под» осознать и запомнить их значения и связать их с вещами «круг» и «крест» я почему-то не мог и не могу вовсе и до сих пор. Много таких вещей с понятиями я не в силах осознать и запомнить сразу, не в силах охватить их в речи, в памяти...

Я сначала почему-то никак не мог понять смысл слова «одолжила», к кому их отнести — к Соне или к Варе, кто кому должен. Мне легче понять такие слова: Соня дала 100 рублей Варе, или Варя дала

Соне 100 рублей. «Что такое — Иван одолжил у Сергея 30 рублей. Кто получил деньги в долг?»...

...А вот профессор говорит мне, открывая свои альбом с различными картинками и показывая мне на картинку с цветными кошками: «Правильно ли я так скажу или нет: черная кошка меньше белой, но больше красной?». В этих словах мне очень трудно разобраться, к тому же этих слов очень много (кошка черная, кошка белая, кошка красная, и все эти кошки то побольше, то поменьше, то еще меньше), а я теперь от ранения могу сравнить и понять только одно слово, одно его понятие. А тут очень много понятий разнообразных и много от этого путаницы. Я вижу на рисунке большую черную кошку, потом вижу белую кошку поменьше, потом вижу красную кошку самую маленькую. Глазами я их понимаю и по размеру, и по росту. Но вот я никак не могу их сравнить друг с другом в понятиях «меньше» и «больше», не могу их понять, к кому отнести меньше, к кому отнести больше, эти слова — то ли к левой стороне, то ли к правой стороне?

...Меня тревожат без конца невспоминания слова ли, образа ли, понятия ли, непонимания связок в по-нятиях. А тут еще непонимание разных вещей в людской речи и в памяти, как «муха меньше слона или больше?» или «Слон меньше мухи или больше?» Сколько я ни стараюсь — я до сих пор остаюсь не в силах понять и осознать сразу связи в этих словах, не в силах припомнить и осознать, к кому же отнести связки — к первому или второму (муха, слон). После ранения, хотя и со страшным трудом, но я снова запомнил все буквы русского алфавита. А вот запомнить слова-связки (меньше — больше) я сразу почему-то не могу и долго думаю, как же правильнее надо ответить на поставленный хотя бы и самим собой вопрос. От перемещения слов смысл связки в понятиях резко меняется. Почему я всегда бываю бессилен отвечать на такие, кажется, самые простые понятия, как «муха меньше слона или больше», хотя я и сам знаю, что такое слон, а что такое муха? А таких понятий с их перемещениями слов — тысячи. И моя сегодняшняя память пока что бессильна сделать (вспомнить, и сравнить, и понять, и осознать). Безусловно, если до меня не сразу доходит такое простое понятие «муха меньше слона или больше?», то еще хуже не доходят, недопонимаются сразу слова-понятия «круг над треугольником или под треугольником?». А ведь есть понятия еще во много раз

сложнее указанных понятий, которых много тысяч. И их невозможно после ранения схватить и осознать, тем более быстро и одновременно. И мне приходится и до сих пор думать и осознавать очень медленно только одно какое-нибудь понятие, колеблясь из стороны в сторону, ища настоящую правоту, в понятиях того или другого смысла.

...Я снова припоминаю про понятия «муха меньше слона» или «муха больше слона». Берусь думать над ними, как они должны правильно пониматься и как неправильно. От перестановки слов в этих понятиях изменяется смысл понятия. Мне же они кажутся на первый взгляд одинаковыми, словно ничего не изме-няется от перестановки этих слов. А подольше подумать, замечаешь, что от перестановки слов изменяется смысл указанных четырех слов (слон, муха, меньше, больше). Но мой мозг, моя память после ранения и до сих пор не в силах сразу схватить, к кому отнести слово меньше (или больше) к слону или мухе? Перестановок даже в этих четырех

словах очень много. И я всегда подолгу думаю над этими понятиями. Я, конечно, давно запомнил такие слова, как «муха меньше слона» — это правильное понятие, а «муха больше слона» — это неправильное понятие, это мне уже ясно, это я знаю, а над всеми остальными перестановками слов я по-прежнему подолгу думаю. Это, конечно, не буквы, которые после ранения я сыз-нова запомнил, которые не изменяются, а остаются теми же, хотя и до сих пор не сразу вспоминаются из головы. Ну, а слова-понятия, которые от перемещения изменяются в обратную сторону? А такие еще насмешливые слова «муха больше слона» бывают тоже правильными и над ними тоже приходится еще больше думать. А сколько таких бесчисленных понятий в людской речи и мыслях? И в моей голове бесконечная путаница.

Уже очень скоро стало ясным, что невозможность понять сложные коды языка, схватить смысл, скрытый за логико-грамматическими структурами — центральный факт его заболевания, одно из главных проявлений дефектной работы тех систем мозга, которые были поражены у нашего больного.

Он понял это сам и, услышав от врачей это слово, обозначил свою болезнь термином «умственная афазия», описав его с точностью, достойной опытного исследователя, и уложив все переживаемые трудности в одну общую картину.

105

«Когда человек тяжело ранен в голову или когда человек тяжело болен от какой-то мозговой болезни, то он перестает понимать или осознавать различные слова и понятия слов, а заодно не может вспомнить те или другие слова, необходимые для его речи или мышления, или, наоборот, не может вспомнить образ вещи, предмета, когда он услышал или уже знает слово.

От ранения или болезни человек также перестает ориентироваться в пространстве, не сразу улавливает звуки, откуда они происходят, человек колеблется, шатается из стороны в сторону; никогда точно не попадает, к примеру, молотком по гвоздю (много раз промахнется, пока забьет один гвоздь к загородке или сараю), от ранения и болезни человек все забывает и ничего не может помнить. Таковы последствия ранения головы.

Все это я называю «умственная афазия»...

Под словами «умственная афазия» я понимаю все то, отчего я не могу сразу вспомнить или сказать нужное слово, или припомнить образ, когда услышал слово, или когда долго не могу понять слово-понятие в связках других слов, которых тоже бесконечно много в нашем русском языке. Вот теперь, вспоминая о прошедшем, когда меня после ранения врачи назначили в разные госпиталя, я сознаю это и так я понимаю мое несчастье».

Он хорошо понимал глубину постигшей его катастрофы и пришел к выводу, что он должен снова овладеть утерянным, должен во что бы то ни стало восстановить то, что раньше давалось ему так легко и что теперь было разбито.

Так началась борьба за мысль, борьба за ясное сознание, борьба за понимание непонятного.

Им руководили, ему были даны опытные психологи-учителя, руководительницы — сначала, одна, потом другая, и третья.

Вместе с ним разрабатывались десятки приемов, находились вспомогательные опоры, составлялись алгоритмы поведения...

«Брат отца...», «брат моего отца...». Основное — «брат», а брат кого? моего отца... «Круг над крестом». Это круг... он под чем? «под крестом...», «-ом», это значит, что крест сверху — надо перевернуть... «Слон больше мухи...» «Значит этот слон — больше, он большой... больше кого? Мухи... этой маленькой мухи...

106

Казалось бы, простая и такая быстрая, «свернутая» операция — заменялась длинной цепью рассуждений, опирающихся на вспомогательные средства и превращающихся в долгую, развернутую, использующую внешние костыли, работу.

И он стал усваивать значение сложных грамматических конструкций, но только путем таких развернутых рассуждений, на которые он опирался, но смысл каждого из которых он так и не мог схватить...

Это была титаническая борьба, с надеждами и мучительными разочарованиями, с медленными успехами, с муками неудач...

И так шли годы, а способность сразу понять смысл сложной грамматической структуры так и не восстанавливалась.

«Уже идет пятый год с тех пор, как я сделался «афазиком» и не понимаю таких простых понятий, вроде «мамина дочка» и «дочкина мама», «хозяин собаки» и «собака хозяина», «муха меньше или больше слона», «крест над или под кругом» и масса других понятий вроде этих.

Я понимаю, конечно, что значит «мама», «дочка», «собака», «хозяин», «муха», «слон». Но мне никак было не понять, когда говорили «мамина дочка» или «дочкина мама». Я понимал одно — звучание слов «мама», «дочка», я знал, что эти два слова как-то связаны друг с другом, походили друг на друга, а как они походили, как они связаны — я не знал.

Не могу понять, почему я до сего времени не в состоянии осознать таких простых (по моему мнению) вещей, о каких я только что упомянул. Мне очень тяжело от этого, что до меня все еще не «доходят» названные понятия, которые даже ребенок сразу понимает, не задумываясь!».

Прошли десять лет, потом пятнадцать, двадцать... Двадцать шесть лет мучительного труда, но и теперь «мамина дочка», «брат отца» остаются для него нерасшифрованными криптограммами, а различение выражений «слон больше мухи» и «муха больше слона» — таких похожих, но наверное все-таки различных, продолжает быть задачей, к решению которой он и сейчас может подойти только путем длинных, мучительных выкладок, так и не приводящих к появлению чувства уверенности...

107

"...Я потерял все знания..."

Все эти трудности, все эти тупики, с которыми он сталкивался при понимании грамматических структур, кодирующих связи и отношения, были самыми яркими проявлениями его дефекта: в них, как в фокусе, отражались все недостатки в работе пораженных аппаратов мозга.

Но и это было еще не все, за этим скрывался еще более грозный дефект: он потерял все знания. Знания, приобретенные им за многие годы обучения...

То, чему мы учились в школе, а затем и дальше, получая специальное образование, откладывается у нас в виде стройных логических систем. Невозможно «запомнить» математику, как невозможно и «запомнить» «Капитал» Маркса. Их можно изучать, понять, а значит уложить в известные системы, которые хранятся в нашей памяти свернутыми, обозримыми, а затем с такой легкостью снова развертываются и восстанавливаются. Можно «забыть» математику или теорию наследственности; но как просто «забытое» вспоминается, как только мы начинаем освежать в нашей памяти прежние знания и восстанавливать, казалось бы, «забытую" систему.

Знания хранятся в нашей памяти вовсе не так, как товары на складе или книги в библиотеке. Они хранятся в виде свернутых кодов и тех сокращенных схем, по которым общая система

восстанавливается так легко.

Вот именно этого-то и не было у нашего героя, у которого ранение разрушило как раз те участки мозговой коры, которые необходимы, чтобы делать обозреваемое обозримым и превращать последовательно поступающую информацию в свернутые, «симультанно» схватываемые схемы.

Он обнаружил это, как только попытался восстановить в памяти то, что приобрел за годы учения в школе и институте.

И здесь он пережил чувство катастрофы.

Ничего... Ну совсем ничего... Отдельные обрывки, в которых лишь сохранилось ощущение, что это понятие относится к той или иной области... И ничего больше! Никаких знаний, никакой системы. Прошлое было разрушено!

«До ранения я очень легко все понимал, что мне говорили люди, легко учился и мог учиться любым наукам, и легко их понимал, после же ранения я забыл все науки, исчезли все мои знания, исчезла вся моя образованность, пропало все...

... Ничего не держится в памяти, и даже каждое слово в процессе чтения уже после третьего слова за-

108

бывается, так же, как и в слове, забываются буквы, которые я прочел только что...

Я помню, что учился в школе, что кончил десятилетку на отлично, что учился в Тульском механическом институте, что кончил три курса, что учился в химическом училище, досрочно окончил его в начале войны, что был на Западном фронте, что был ранен в голову в 1943 году при прорыве обороны немцев в Смоленщине и не смог после этого вернуться в строй. А вот что я делал, чему я учился, я не помню, каким наукам обучался, какие были предметы. Я все забыл. Я хотя и знаю, что изучал немецкий язык в школе — шесть лет изучал его — но я теперь не помню ни одного слова, ни одной буквы; я помню, что учил английский язык в институте три года подряд, но теперь не знаю ни одной буквы, ни одного слова. Я забыл эти языки совсем, как будто никогда не изучал, не знал, не произносил. Я также вспоминаю разные слова: «стереометрия», «тригонометрия», «химия», «алгебра» и другие, но я не могу их понимать, что они означают эти слова...

От учения в средней школе у меня ничего не осталось, кроме одних слов (или вывесок), названий, как-то: физика, химия, астрономия, тригонометрия, немецкий язык, английский язык, сельское хозяйство, музыка и т. д. и т. п., которые утратили свой смысл, оставив в каждом слове чувство знакомости, не более...

...Глагол, местоимение, наречие. Я слышу эти слова, которые мне кажутся знакомыми, и в то же время я почему-то не понимаю этих слов. Я, конечно, хорошо знал до ранения эти слова и помнил их, а вот тут... я почему-то перестал их понимать и помнить. Я слышу это слово... стой! — Это же относится к грамматике, это слово — глагол. И больше об этом слове я не имею ничего сказать... А через полминуты это слово «глагол» я начинаю забывать... и вмиг забыл. Но запомнить, понять грамматику, геометрию и так до сих пор не в состоянии, причина — разрушение памяти и удаление части мозгового вещества...

Я иногда беру в руки какой-нибудь учебник — геометрию, или физику, или грамматику, но через не-сколько минут отхожу от него или с досадой бросаю его, так как я не понимаю ни физики, ни геометрии и разбираться в них не под силу — не запоминается ничего из этих школьных учебников средней школы. И вдобавок от этих занятий усиливается головная боль и даже от одного взгляда на учебник я начинаю

нервничать, раздражаться и какая-то нестерпимая усталость, отвращение ко всему охватывает меня».

С ним пытались вести занятия; он делал мучительные попытки восстановить хоть что-нибудь из утерянных знаний, он просиживал часами над самой простой задачкой или теоремой, значение которой он раньше схватывал налету... Бесплодно! Никаких результатов.

«По геометрии со мной занимается М. Б. — молодой человек, недавно окончивший философский фа-культет. Сначала он начал со мной толковать о геометрических понятиях по учебнику средней школы; что такое точка, линия, плоскость, поверхность, затем начал толковать о теоремах. И странное дело. С одной стороны, я помню, что знал хорошо эти понятия - теоремы по геометрии, а с другой стороны, я не знаю ни одного понятия, ни одной теоремы — все забыл. Я забыл даже, что значит плоскость, линия, поверхность, и хотя М. Б. по нескольку раз объяснял эти понятия, я все равно не мог их понять и запомнить. Мне даже неудобно было чувствовать себя таким непонятливым, бестолковым. И я большею частью старался поддакивать ему, будто понимаю уже, что он говорил, хотя, по совести сказать, я ничего не понимал и не понимаю в его объяснениях, а причиной было несхватывание самого слова и понимание его. И я больше мог опираться на картинку - рисунок, чертеж. А без картинки никакое «словесное» до меня не доходило и не доходит. Я все стараюсь сверить с картинкой надписанной, например: • — это точка; — — это линия; 1 — это плоскость и т. д., а объяснить или дать определение, что такое точка, линия, плоскость, я не мог и не могу, сколько бы я не перечитывал эти понятия. Странно и самому, а в голове какой-то туман, боль, резь в глазах, и я сам прямо пьяный в натуральном смысле слова. Мне невозможно почему-то понять слова: поверхность, окружность и всякие, даже плоскостные линии, формы. И если я пониманию все же что-нибудь, то я могу понимать только рисунком, чертежом, говоримое и даже написанное я не понимал и не понимаю. Я никак не могу понять «угол», «угловой градус», «дуговой градус». До меня никак не доходят эти понятия. Мне легко понимается что-нибудь наглядное, плоскостное, но не понимается что-нибудь объемное, подвижное, где нужно что-то представлять, перемещать, соображать. Но я понимаю, хотя с тру-дом, площадь прямоугольника, так как я уже понимаю

длину в сантиметрах, а в квадрате — это кв. см, а вот градусы угловые и дуговые мне никак не удается понимать и связать их с чем-нибудь ощутимым, наглядным, вроде площади Земли.

Мы занимались вместе с М. Б. даже теоремами. Вот, например, мы с ним разбирали такую теорему: «Внешний угол треугольника больше каждого внутреннего угла его, не смежного с этим внутренним». Но первое время я вообще не мог понимать эти названия (смежный, угол, внутренний, внешний) и определения, а потом начал понимать их, глядя на рисунки линий чертежа-рисунка. Но теоремы вытекают одна за другой, нужно вспоминать или заново запоминать их, а это для меня почему-то невозможно! Ведь мне нужно сравнить и припомнить слова меньше — больше, т. е. где нужно понимать слова «меньше» и «больше» в этой теореме. Я уже понимаю, что значит меньше, что значит больше по количеству, но когда эти слова стоят в промежутках, то мне трудно понимать их, так как я не могу отнести слово «больше» к определенному понятию: то ли это слово «больше» отнесется к ранее сказанным словам, то ли к позже сказанным словам. И мне нужно на что-то опереться, и я начинаю опираться на понятие «слон больше мухи». А уж потом я, кажется, пойму, к чему относится слово «больше». А когда я в конце концов пойму с титаническим трудом теорему, а потом перейду дальше и начну понимать другую теорему, то первую теорему я уже забыл и не понимаю ее.

А на самом деле мне приходится без конца копаться в определениях слов и понятий каждый раз, когда с ними сталкиваюсь. В конце концов я бы наверное запомнил эти теоремы и понятия слов вот этих, из этой теоремы, в течение месяца или двух при ежедневной тренировке их, но преподаватель идет дальше, преподносит новую теорему, новые понятия, новые определения, а через несколько дней еще следующую теорему, и я не в состоянии запомнить ни теоремы, ни их

слова и определения, ни их понятия, и от занятий ничего не остается, никакого следа. Так оно и выходит: если нужно что-нибудь запомнить, хотя бы одну тео-рему вот эту, то нужно запомнить ее в течение одного или двух месяцев, чтобы они вошли в память, при условии, если я ничем не буду заниматься. Да и то эта теорема с понятиями войдет в состав памяти так же, как и другие слова, которыми я теперь общаюсь — вот такой «афазической» памятью. Но если я не буду эту теорему вспоминать изредка, то она тоже забу-

111

дется совсем, как забылись и не вспоминаются все другие теоремы.

Вот и выходит, что я уже никогда не запомню и не пойму ни геометрию, ни грамматику, ни физику, ни любую другую науку, раз такая стала память и раз такая у меня стала голова. Это просто страшная вещь, случившаяся в моей жизни. Странная безмозглая какая-то болезнь в моей голове — исчезающая на глазах память, непонимание окружающего, непонимание теорем».

Может быть, так обстоит дело только со сложными системами наук - геометрией, физикой, грамматикой?

Ну, а что, если мы упростим задачу, если мы перейдем к простому счету - к программе первого, второго, третьего класса?.. Может быть здесь будет легче?...

Но и тут нас ждут разочарования. Оказывается, уложить простую систему чисел так же трудно, как усвоить сложные научные понятия.

«От ранения я полностью забыл счет и не знал вначале ни одной цифры (так же, как и не знал ни одной буквы). И опять я сидел рядом с учительницей, полуулыбаясь ей, надеясь, что скоро проснусь от этого странного и страшного сна, что не может быть, чтобы я не умел говорить, читать, считать? И я долго смотрю на цифру и что-то вспоминаю или жду какое-то время. Наконец я вспомню про начальную цифру - один (1), и тогда я по цифровому алфавиту перебираю потихоньку: «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... семь!» - громко говорю я, глядя в упор на цифру 7. А иногда бываю не в силах сказать, а сколько же будет хотя бы... шестью шесть? — тридцать шесть или сорок шесть, или тридцать? — или еще сколько, иногда бывает (сам замечал), что не могу сказать, сколько же будет... дважды два? Какие-то вредные силы без конца затмевают поврежденный мозг. И так до последнего времени путаница продолжается в таблице умножения.

Я напоминаю просто ребенка лет пяти в этом случае. Я не знаю ни одной цифры. Но уже идут занятия по счету, и оно начинает идти успешнее, чем с буквами. Ведь цифры почти все одинаковые, стоит только за-помнить их десять штук, а потом все повторяется с небольшими отклонениями и добавлениями. Но учи-тельница уже начинает требовать, чтобы я умел счи-

112

тать в обратном порядке, т. е. от десяти и до единицы, а для меня это было просто наказанием, и в первое время я не мог считать цифры в обратном порядке. А потом я так начал считать. Сначала считаю от еди-ницы и по порядку до десяти; затем мне требуется уменьшить одну цифру на единицу, но я не могу еще произнести слово «девять» сразу, а начинаю считать от одного и по порядку до восьми и т. д. до последней цифры. А это страшно тяжело было для меня считать вот таким образом в обратном порядке.

В первое время мне было очень трудно подсчитывать числа (ведь я заново учусь считать!), тем более что приходилось и приходится пользоваться «цифровым алфавитом» — 1, 2, 3, 4... и т. д., иначе я никак не мог вспомнить сразу без «алфавита» какую бы то ни было цифру. Вот, например, мне О. П. говорит: «Сложи число 10 и 15, подсчитай, сколько будет?». И вот я начинаю подсчитывать: «Один, два, три... десять», — это значит, что я понял, что означает число десять, когда произнесу его после перечета по порядку с одного до десяти. Иначе я не мог понять, что значит число десять. Затем я начинаю снова подсчитывать: «один, два, три, четырнадцать,

пятнадцать!» Это значит, что я понял, что значит число пятнадцать (и словесно и числительно понял!). А потом я начинаю дальше складывать: «Шестнадцать, семнадцать...», — и подсчитываю от шестнадцати до двадцати пяти по пальцам.

Считать в письменном виде мне гораздо легче, а в уме — очень и очень тяжело и трудно, и считаю все-гда длинным способом. Вот О. П. говорит: «Отними от 32 цифру 17, сколько будет? И сделай это в уме!». И вот я начинаю копошиться — считать, пересчитывать в уме — очень медленно и очень долго, переспросив дважды учительницу про эти цифры»... От 32 отнять 2 будет 30. К 17 прибавить 3 будет 20. От 30 отнять 20 будет 10. От 10 отнять 7 будет 3. К 3 прибавить 10 будет 13. Да от 30 осталось 2, ее надо прибавить к 13, будет 15!». Иначе я не мог считать без таких обходов и переходов. В письменном счете гораздо проще и быстрее.

...Я уже теперь знал значения более простых слов, как сложить и вычесть (прибавить и отнять), умно-жить и разделить, и то я их в нужное время не мог вспомнить, хотя я их уже понимал. А эти понятия — «разность, частное» — я не мог их запомнить...

...И я без конца путаю цифры одну с другой, а в уме долго не мог подсчитать, сколько же будет если

сложить или вычесть числа. А вот такие цифры с понятиями о квадратном корне я с трудом осознаю вна-чале, а как перестану касаться этих вещей - быстро почему-то забываю, как надо извлечь квадратный корень О 49 и О 0,49 и О 4 и О 0,4 — перестаю понимать эти вещи быстро. Также и с другими подобными вещами.

Учительница начала со мной заниматься счетом - складывать и вычитать, а позднее мы вместе с ней на-чали учить таблицу умножения. За несколько месяцев я, кажется, почти всю ее запомнил, но частенько путал цифры одну с другой, а иногда бываю просто не в силах сказать, а сколько же будет хотя бы... пятью шесть? - тридцать шесть или тридцать? — или еще сколько. И так до последнего времени путаница продолжается в таблице умножения. В уме мне считать очень тяжело и, когда что ни считаю, на бумаге считаю значительно легче, да и всегда теперь, если нужно что подсчитать, то только с помощью бумаги и подсчитываю, но частенько путаю цифры, мешаю одну с другой в своей памяти...

В последнее время учительница пробовала задавать мне небольшие задачи по арифметике, когда я уже научился складывать и вычитать цифры, умножать и делить их, как в начальной школе делают. И когда она начала мне говорить о слагаемом и вычитаемом, разности, частном и сумме, то я почему-то никак не мог их — слова и понятия — запомнить и осознать сразу. Я только слышу эти слова как что-то знакомое, а что именно — сам не знаю и не понимаю. Правда, я скоро понял смысл этих слов, т. е., что они относятся к «счетному делу», — складывать, вычитать, делить, а вот запомнить эти слова — «слагаемое», «разность» я никак не мог и не могу применить их в задачах, без конца забываю их смысл.

Я начинаю думать над словом «частное».., и опять я думаю, думаю над этим словом, к чему оно относит-ся, к вычитанию ли, к сложению ли, к делению ли.

Учительница подсказывает и значение этого слова. Но теперь я уже забыл значение слова «раз-ность».

И как все это мешает жить! Он даже не может сходить в магазин, подсчитать затраты, проверить сдачу.

«Я часто забываю, сколько будет пятью пять, то ли 25, то ли 35, то ли 45? И цифры менее заметные,

хоть бы там шестью семь, сколько будет? - я забываю совсем... и начинаю перебирать всю таблицу с самого начала и до конца, пока не найду, какая должна быть поставлена цифра. Я, конечно, разберусь в цифрах, в их верности, когда я сижу у себя дома за столом, с карандашом в руке. Но когда я нахожусь на прогулке или берусь подсчитывать сам у прилавка магазина, я всегда ошибусь или в ту, или в другую сторону...

Поэтому теперь я сам почти не считаю деньги, когда захожу в магазин и хочу купить какой-нибудь продукт питания (или еще что), я только говорю кассирше, что мне надо выбить полкило или кило такого-то продукта, кладу ей деньги и кассирша мне выбивает чек, выдает остаток денег, а потом иду к продавцу, который мне свесит положенный продукт. А сам почти совсем перестал подсчитывать что-либо в магазине».

И все это не ограничивалось трудностями счета. Его беспомощность распространилась и гораздо дальше.

Теперь он не мог играть ни в шахматы, ни в шашки, ни даже в домино, и все эти игры (такие простые в прошлом — ведь он всегда так легко обыгрывал своих партнеров) стали недоступными.

«До ранения я умел играть в любые игры и всегда играл и владел ими на хорошо, на отлично, а вот пос-ле ранения разучился играть в них. И лишь потом, спустя несколько месяцев и лет, я снова кое-как научился играть хотя бы в шашки, в шахматы, в домино, но по-настоящему владеть этими играми уже почему-то не могу. Вот я сажусь играть в домино (два партнера против двух партнеров). Игра, вроде, простая: каждый игрок имеет семь фишек (из 28 штук), максимальный счет одной фишки равен 12. Хотя фишек пустотных или цифровых всего семь штук одного вида, размещены, они по-разному в 28 фишках, отчего я теряюсь и не в состоянии упомнить, кто чем играет, я быстро забываю, кто что ставил... я думаю, вспоминаю... а игроки ждут, ругаются каждый раз, когда мой ход, и все равно не припомню, какими фишками я сам ходил. И когда я смотрю на домино (шашки, шахматы), то я вижу в окружности две или три фишки (вместо 28) и чтобы не забывать про них, приходится без конца оглядывать фигурки во все стороны...

До войны и до ранения я хорошо играл в шахматы. Но вот после ранения в госпитале я почему-то

«забыл», как играют в шахматы, как называются шахматные фигуры, то есть я забыл все о шахматах, как забыл после ранения, как называются буквы, цифры...

Я берусь играть в шахматы с начинающими игроками и почему-то долго думаю, а как же надо ходить. А вот вспомнить во время игры, как называются те или другие фигуры, я до сих пор почему-то не могу (ферзь, ладья, слон, конь, пешка, король). Иногда я вспоминаю про коня (лошадь), про короля (царь), а все остальные фигуры — отвлеченные для меня, и я их не мог запомнить в течение двух десятков лет. А в госпитале я приспосабливался: вместо ферзя называл фигуру «царевна» (если вспомнится), вместо короля — тоже называл «царь», про коня вспоминал - «конная Буденного» (если припомню), ладью и слона заменял словами «офицер, дамка» (если вспоминал об этом), все легче вспоминать. Но все же во время игры и эти слова плохо вспоминались. Во время игры на доске я видел две-три фигурки, как и буквы во время чтения — всего три-четыре буквы от центра поля зрения и влево. От того, что я не вижу всю шахматную доску, а только маленький кусочек, я без конца забываю о существовании фигур, «зеваю», теряю фигуры. А заранее знать хоть на один ход вперед — я не мог почему-то...

Примерно то же самое случилось и при игре в шашки: я забыл, как играют в шашки, хотя до ранения играл хорошо, прямо скажу.

Когда я увидел в госпитале шашки, то я узнал их по старой зрительной памяти. Но когда я хотел поиг-рать в шашки с одним больным, то вдруг забыл, как же ими играть, в какую сторону нужно двигать шашкой, по сколько клеточек можно ходить, в общем, забыл, как нужно играть ими. И

товарищ вместо того, чтобы играть со мной в шашки, начал обучать меня игре в шашки, просто смех и грех. Вскоре я быстро научился, как ходят «шашка» и «дамка», и часто даже, хотя и с трудом все еще, вспоминал при игре слова — «шашки», «дамка», почему-то легче вспоминал эти два слова, а вот в шахматах — там несравненно труднее. Но все же при игре в шашки у меня также были затруднения. Я очень долго соображаю, путаюсь, забываю ходы, наперед предвижу только один ход, а что делает в то время противник — совершенно не знал, точно так же, как и при игре в шахматы...

И не только шахматы, шашки, домино. Для него стали невозможны и все формы сколько-нибудь сложного общения,

116

он становился беспомощным, когда он вступал в разговор, приходил на концерт, старался понять кинокартину.

И здесь до него доходили лишь самые простые бытовые сцены, все остальное было раздроблено на куски, которые он не мог связать, смысл которых оставался для него непонятным.

«Кино я посещаю регулярно, когда оно бывает. Все же для меня приятно смотреть кинокартину. Все-таки меньше скуки. Только я не могу теперь после ранения читать что-либо в кино на экране, потому что я научился читать и читаю только по слогам, по буквам. И когда на экране появляются слова, то я успеваю прочитать только две-три буквы, как экран с буквами исчезает и заменяется картиной. Но и экран я вижу не целиком, а только часть его — слева от центра зрения глаз. И чтобы иметь представление обо всем, что творится на экране, мне приходится окидывать глазом экран со многих точек зрения, т. е. стократно вращать глазами с одного места экрана на другое. И поэтому я быстро в кино утомляюсь, ломит глаза, голову. А оттого, что я не могу читать, я не понимаю картины. Но и в звуковом кино, где читать почти что нечего, а приходится только смотреть и слушать, я все равно не понимаю почему-то картины. Я не успеваю понимать, о чем говорится в картине, как уже экран показывает другое действие.

Да и вообще я стал понимать только очень простые вещи, что-нибудь вроде тех, которые были в дет-стве. А так я смотрю картину и мало что понимаю. Вот в картине разговаривают двое людей, а зрители смеются, а я не пойму, что же смешного там. Мне только становится понятно в картине, когда двое людей начинают ругаться, драться, падать, это уже для меня тоже понятно без слов. Но все же картина после ее просмотра не оставляет в памяти никаких следов, так мне кажется, хотя все-таки понемногу что-то, на-верное, воспринимается, хотя я сам об этом не могу понимать...

То же можно сказать и о концертах. Я слышу и вижу выступающих, но смысл слов их я не успеваю понимать и схватывать, и все слова для меня остаются пустыми, да и те не остаются долго в памяти, а мигом забываются».

Правда, музыку он продолжал любить; но в песнях получалось что-то странное: он легко сохранял мотив, а содержание, выраженное словами, по-прежнему не доходило до

117

него, и песня расчленялась на понятный мотив и чуждое, не доходящее до него, содержание.

«Это мне напоминало своего рода то же, что происходило с моей речью и памятью: обрывок словесной песни — это мое речевое значение, а мотив — это вроде автоматического букваря, когда я, не зная букв, автоматически их называл».

118

Живое воображение. Личность.

Ранение нанесло непоправимый ущерб его мозгу; оно перечеркнуло его память; раздробило познание на мно-жество кусков. Лечение и время возвратили ему жизнь, положили начало работе над возвращением этого мира, который он должен был собирать из маленьких кусочков - отдельных «памяток». Они сделали его беспомощным «умственным афазиком», который должен был жить в своем новом «беспамятном мире». Они заставили его начать титаническую работу над собой, работу, источником которой была постоянная надежда возвратиться к жизни, стать полезным другим.

Но вот удивительный результат ранения: оно полностью пощадило мир его переживаний, мир его творческого энтузиазма, оно оставило полностью сохранным его личность, личность человека, гражданина, борца!

И как беззаветно он борется за восстановление своего раздробленного «беспамятного» мира! Как остро он чувствует свои огромные пробелы и свои маленькие, иногда — столь трудно ощутимые успехи. И какое яркое воображение сохранилось у него: как красочно он вспоминает свое детство, как ярко и образно описывает он леса и озера, как трогательно переживает он свои прогулки, каждую травинку, каждый цветочек...

И он продолжает так же тонко чувствовать людей, воспринимая их мотивы, оценивая их поступки, вместе с ними переживая их беды и радуясь их достижениям.

Больной и лишенный «речи-памяти», он продолжает жить жизнью своей страны, он остается ее гражданином...

И вот что особенно поразительно: он, потерявший свои знания, неспособный сразу схватить значение грамматической конструкции, бессильный перед задачей быстро подсчитать в уме несколько чисел, — он сохранил удивительное по яркости эмоциональное воображение, тонкое умение представить себе людей, с их столь разнообразными мотивами и переживаниями.

Как ярко он представляет и как удивительно тонко он анализирует их.

118

Перелистаем его тетради и найдем страницы, посвященные этому творческому эмоциональному воображению.

Какие разные бывают люди... Какие разные мотивы лежат за их поступками и определяют их личность...

И он начинает писать, занося в тетради воображаемых людей и возникающие в его воображении картины.

Он представляет себя врачом, инженером, няней... И с какой трогательностью и моральной глубиной он описывает эти воображаемые образы...

«Вот я врач. Я осматриваю больного, сердечно обеспокоен его состоянием, болею за него всей душой, ну как же, ведь это же человек, такой же, как и все, но только он сильно болен, ему надо помочь. Ведь я тоже могу болеть, и мне тоже кто-то должен помочь, а теперь вот надо помочь этому больному. Иначе нельзя. А вот я другой врач. Ох, и надоели мне эти больные со своими жалобами. Я не знаю, зачем я связался с этой медициной. Мне не хочется ничего делать, не хочется никому помогать. Правда, я помогаю больше тем, кто и мне оказывает какую-нибудь помощь. И не беда, если умрет какой-нибудь больной, не в первый раз они умирали и умирают.

А вот я знатный хирург, и правда, я все же спас много человеческих жизней. Меня благодарят за это, называют спасителем. Я и сам радуюсь этому, я дорожу каждой человеческой жизнью. А вот я другой хирург, хотя и не знатный, потому что я все же часто делаю промахи, но только мне, кажется, не по вине своей руки, или же по вине больного, или же по вине моего же настроения. Я

все-таки больше люблю театр, танцы, балы, легкую жизнь, свое личное благополучие, хотя я об этом мало кому говорю.

Теперь о другом. Я уборщица. Мне очень тяжело жить. Но ничего не поделаешь, голова моя никудыш-ная, способностей у меня нету, да и малограмотная я, стара вот...

...Я крупный инженер, руковожу заводом, серьезно приходится думать обо всем и работа мне стала почему-то легкой казаться, потому что я связан со многими заводами и их руководителями. Мне теперь, конечно, все же легче жить и быть инженером, нежели уборщиком или грузчиком.

Я слабая женщина, болею головой... голова у меня отчего-то все более и более распухает, а утром и вечером я кричу на всю больницу и почти каждый раз лишаюсь разума. Но умирать мне все еще не хочется... я жалею своего сынка, что у него разбит за-

119

тылок, что у него поврежден мозг, что у него повреждено зрение, что у него все время болит голова, что он сделался неграмотным. Мне жалко и другого своего сынка, который стоял на Литовской границе в 1941 г. и от которого нет теперь ни слуха, ни духа. Я страдаю, мучаюсь оттого дни и ночи».

Можно ли представить себе большую сохранность тех внутренних сил, которые характеризуют человека, большую полноценность его моральной личности, большую красочность его живого, эмоционального воображения...

Мозг человека остается удивительным, еще не распознанным нами аппаратом. Разрушая до конца одни стороны нашей внутренней жизни — осколок может оставлять незыблемыми и неповрежденными ее другие стороны, сохраняя со всей полнотой прежние возможности человека.

И это позволяет ему бороться, ему — живущему в раздробленном мире, но сохранившему все силы полноценной, моральной личности!..

120

Повесть,

которая осталась без конца

Мы подошли к концу нашей повести. Но где же он, этот конец? Его не видно.

Идут годы за годами. Наш герой живет в своей Казановке: теперь это уже рабочий поселок Кимовск. Кругом выросли дома трех-, четырехэтажные.

Он по-прежнему каждое утро садится за стол и начинает писать свою повесть. В ней он хочет как можно полнее отразить свою трагедию, свою борьбу, свои надежды и разочарования.

А борьба продолжается.

Рана зажила давно, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет назад. В мозговом веществе стали образовываться рубцы, а с ними появились припадки... Мозговое вещество не восстанавливается, клетки пораженной мозговой коры не возникают снова, и он должен старательно обходить те выжженные участки мозга, которые были разрушены осколком. Обходить, чтобы другими средствами, на других путях попытаться восстановить потерянное.

120

Ему мучительно хочется проснуться от этого тяжелого сна, выйти из этого безнадежного застоя

мысли, покончить с этими бесконечными блужданиями в частоколе слов и в стране невоплощенных мыслей, снова оказаться в простом и ясном, легком и доступном мире.

Но это не удается.

Время идет — а мучения остаются теми же.

«Да, летят месяцы, летят годы, проскочило уже более двух десятилетий, а я все по-прежнему хожу по заколдованному кругу времени и не могу прорвать этот круг, не могу вырваться из него, чтобы вновь стать здоровым, чтобы вновь стать самим собой — со светлой памятью, с соображением...

Здоровому никогда не понять глубину моей болезни, которую здоровый никогда не знал и не узнает, если с ним это не случилось...».

И он возвращается к своему прошлому, он не может понять, почему мир сложился так странно, для чего нужна война, чем оправдано то, что четверть века назад он, такой молодой и способный, перед которым раскрывалось более светлое будущее, почему он потерял память, свои знания, стал таким беспомощным инвалидом, обреченным на нескончаемую борьбу — вчера, сегодня, завтра и так до конца своей жизни.

Нет, этого нельзя понять.

И он снова начинает бороться за то, что невозвратимо ушло, пытаясь сложить кусочки своего раздробленного мира в прежнее, теперь утерянное целое.

И он снова возвращается к своей повести, которую он еще пишет и у которой нет конца.

К повести о борьбе, которая не привыкла к победе, и о победе, которая не прекратила борьбы.